
«Только детские книги читать...»

В заочном «круглом столе» принимают участие:

*Акрам АЙЛИСЛИ, Евгений АЛЁХИН, Дмитрий АРТИС,
Полина БАРСКОВА, Ирина БОГАТЫРЁВА, Александр БУШКОВСКИЙ,
Алексей ВАРЛАМОВ, Андрей ГЕЛАСИМОВ, Юлий ГУГОЛЕВ,
Максим ГУРЕЕВ, Ксения ДРАГУНСКАЯ, Олег ЕРМАКОВ,
Дмитрий ЗАХАРОВ, Александр ИЛИЧЕВСКИЙ, Михаил КУРАЕВ,
Владимир МЕДВЕДЕВ, Ольга ПОГОДИНА-КУЗМИНА,
Николай ПОДОСОКОРСКИЙ, Ольга СЛАВНИКОВА*

В 2015 году «ДН» впервые предложила своим авторам — писателям из «ближнего» и «дальнего» зарубежья вспомнить КНИГУ своего детства и рассказать о том, что любят (и любят ли) читать их дети и внуки.

В этом номере — новые авторы и новые книги.

Теперь в нашей копилке уже больше сотни историй.

*Акрам Айлисли, прозаик, сценарист, переводчик
(г.Баку, Республика Азербайджан)*

«Все прочитанное мной в книгах я воочию увидел когда-то в Айлисе»

В детстве я читал только на азербайджанском по самой простой причине: знал я только азербайджанский язык, ведь я рос в деревне. Помню героический эпос «Кероглу» и книгу Сулеймана Сани Ахундова «Страшные сказки». Сказки я полюбил, вероятно, потому, что в них было то, чего не было в жизни. Их рассказывала всегда на ночь моя мама. (Отец погиб на фронте, когда мне не было и пяти лет.) Только позже я понял, почему она их так часто рассказывала. Видимо, хотела отвлечь меня, голодного, от постоянного желания есть. Даже и после войны, до самой середины 50-х, основная масса людей нуждалась в хлебе.

И вообще, не сказка ли вся художественная литература? Разве не сказки «Мастер и Маргарита», «Мёртвые души», «Дон Кихот», «Гроздь гнева»?.. Могу удивить вас еще больше: до сих пор я почти уверен, что все прочитанное и читаемое мной в книгах я воочию увидел когда-то в Айлисе — и вот вам еще одна страшная сказка!

А эпос? В эпосе есть простое, очень понятное и чувственное противостояние добра и зла. Борьба за справедливость, которую легко воспринимает детская душа.

В раннем юношестве поразил меня А.М.Горький своими рассказами и трилогией «Детство», «В людях», «Мои университеты». Ранний Горький, по-моему, очень хороший сказочник. Скучная безрадостная жизнь — и маленький человек, мечтающий выбраться на свет Божий. А я был и навсегда остался в душе этим маленьким человеком. Вот что связывает меня с ранним Горьким.

Два года я учился в Баку. А потом — Литинститут, который очень быстро преобразил меня. У меня был отдельный учитель по русскому языку: очень простой и добрый старичок. Помню, как по-детски весело радовался он моим успехам. В студенческие годы я увлеченно читал Генриха Бёлля. Затем перевел на азербайджанский язык его повесть «Хлеб ранних лет». Выпущенная большим тиражом, она разошлась мгновенно.

На сегодняшний день мои самые любимые писатели Джон Стейнбек и Иван Бунин.

А любимой книгой моего старшего сына Ильяса была «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома. Младшего, Наджафа — «Золотой телёнок» Ильфа и Петрова.

У внучек свои предпочтения: старшая, Айлин, больше всего любит «Зверинец Джебраила» Кэрол Берч, а младшая, Сезен — «Таинственный сад» Фрэнсис Бёрнетт.

Евгений Алёхин, прозаик, музыкант, издатель (г. Санкт-Петербург)

Первая книга

Моя любимая книга из детства «Сказка с подробностями» Григория Остера. Ее перечитывал два года назад, и магии не стало меньше. Получил такое же удовольствие.

Я долго не мог научиться читать по-русски, потому что не понимал, зачем это мне. Немного читал по-английски, потому что в мои шесть лет сводный брат обучил меня программированию. Потом пошел в школу и освоил родную азбуку, когда появился соревновательный инстинкт. Но там нужно было просто быстро оттараторить и получить оценку. В первом классе случайно так стал читать быстрее всех, а потом, когда научился внятно пересказать прочитанное, стал получать оценки ни за что. Но само чтение не увлекало. Помню: откроешь книгу якобы для твоего возраста — и сразу чувство, что с тобой сюсюкаются. Почти все книги, что мне давали взрослые, были скучные или лицемерные, как улыбка взрослого, вызванная тем, что я блондинчик. Они думают, что улыбаются искренне, — но ты, ребенок, видишь оскал сатаниста. Все же я очень любил, когда отец читал мне вслух — греческие мифы, например. Сложно было читать самому, но он делал их понятными. Конечно, отец их купировал, не рассказывал мне про сексуальные связи богов с людьми, животными, предметами... Мать же читала мне Библию, и это было страшно. Я плакал и думал, что я и есть Каин. От этого не оправился до конца до сих пор, библейские сюжеты часто путаются с воспоминаниями о собственной жизни, и это страшная путаница. Когда мать развелась с отцом, она меня крестила и научила крепко бояться бога. Чтение отца приносило кайф и успокаивало. Помню «Денискины рассказы», у меня даже были любимые тексты в этой книге, озвученной отцовским баритоном (почти басом). Но даже в них

был какой-то кукиш, подвох, неправда. Гнильца, что ли, в общем, что-то с ними было не так. Тайное не становится явным, иначе бы я умер в семь лет, когда бы мои мама и сестра узнали, что я подглядывал за ними в душе. Автор явно морализаторствовал, я не хотел этого от книги, этого хватало от тупых взрослых. Чему пытался обучить меня В.Драгунский? Есть манную кашу через силу? Нет, спасибо, но я после его рассказа понял, как действовать. Родителю надоест смотреть за тобой, и он выйдет в комнату, а тебе надо взять тарелку с ненавистной едой, тихонько пройти в туалет, скинуть еду в унитаз, но не смывать. Нужно поставить тарелку в раковину или помыть самому, а потом сделать вид, что идешь в туалет, там уже и смыть ненавистный борщ с мясом, которое не нужно организму. Помню, как плевался от «Золотых слов» Зоценко, — нет, взрослые это не взрослые, а дети это не дети. Но в «Сказке с подробностями» ничего такого не было, этот человек (автор) понимал, что дети не идиоты, он уважал нас. Я засыпал и просыпался с этой книгой, прочитал ее раз пятнадцать. Автор рассказал мне, что важна не столько сама формальная часть истории, сколько ее уникальные подробности. Лошадки стали для меня семьей, директор карусели стал старшим братом. Спасибо вам, Григорий, надеюсь, Вы здоровы и до сих пор пишете. Думаю, что я прочитаю эту книгу своим детям: дочери России и сыну Антимиру. Может быть, даже запишу для них в аудиоформате. Подробности живут лучше основной линии, развиваются по своим законам. Мир — в этих полуслучайных подробностях. Для меня до сих пор так.

Дмитрий Артис, поэт (г.Москва)

ФИЛИППОК

В нашем городке открыли первую школу с углубленным изучением английского языка. «Английская школа» — так во дворе называли ее. Набор с шести лет, а со второго класса — с семи лет — начинали учить языку. В далеком 1979 году простые советские дети, а так же их родители, о таком даже не мечтали. Это было что-то из разряда фантастики, будто кто-то щелкнул пальцами или взмахнул волшебной палочкой и в одно мгновение наш городок оказался в будущем.

Мне как раз исполнилось шесть лет, я уже неплохо читал, писал и считал, поэтому в один из летних понедельников мама нарядила меня в одежды послушного сына (белая рубашка, темные шортики, гольфы, сандалики, не помню, была ли бабочка, туго обхватывающая горло, но пусть будет — для полной картинки), в общем, нарядила и повела в школу на так называемое «прослушивание», по результатам которого принималось решение о зачислении в новую модную школу.

Путь неблизкий. Мы жили в центре старого города, отстроенного сразу после войны (кирпичные пятиэтажные дома, квартиры с высокими потолками и деревянными полами), а школа находилась в новом районе, где с начала семидесятых уже царствовали высокие панельки, поддерживающие небо (низкие потолки и бетонные полы, которые застлались вечно вздыбливающимся линолеумом).

Чтобы добраться до школы, нам нужно было сесть на автобус у центральной площади с фонтаном и проехать с десятков остановок. Пока ехали, мама продолжала готовить меня к прослушиванию, в который раз задавая одни и те же вопросы:

- Как тебя зовут? — имитируя строгий голос учительницы, спрашивала она.
- Дима...
- Отвечай «Дмитрий»!

- Дмитрий.
- А как зовут маму?
- Света... Светлана!
- А где ты живешь?
- Улица Те... ле... теле... телес...
- Ну, Дима! Ты же знаешь!

От волнения забыл, как произносятся буквы «р» и «ш». Покраснел, на глазах набухли слезы. Задрожали губы, подбородок. Вот-вот разревусь.

- Назови адрес! Адрес!

Я посмотрел на маму, и она представилась мне огромным стражником башни из фильма-сказки «Королевство кривых зеркал». Этот стражник у любого, кто подходил к воротам, громовым голосом требовал показать ключ:

- Ключ?! — требовал стражник.
- Адрес?! — требовала мама.

Потом я представил маму в образе фанатичного поклонника Миледи из фильма про трех мушкетеров, который просил назвать имя:

— Назовите его имя, Миледи! Имя! — требовал он, округляя до пятикопеечной монеты глаза.

- Адрес! — требовала мама.
- Улица Телесковой, дом сетыле, — наконец-то произнес я.
- Не Телесковой, а Терешковой! Улица Терешковой, дом четыре.
- Телесковой-сетыле, — повторил и разрыдался.

Мама посмотрела на меня, покачала головой и дальше мы всю дорогу ехали молча. В автобусе только и были слышны мои протяжные детские всхлипы.

Когда подошли к школе, я уже успокоился и почти забыл о своей первой неудаче. Светило ласковое подмосковное солнце. Август. Не жарко, а вот именно — тепло. Птицы, редкие машины, аккуратные люди, памятник академику Королеву, зелень, цветы на клумбах, школа... Первая английская школа в нашем городе, и я там буду учиться! Посмотрел на небо, потом на маму и громко сказал:

- Улица Терешковой, дом четыре, квартира двадцать девять!
- Молодец, Дима...
- Дмитрий! Мама, говори «Дмитрий!»! — перебил.
- Хорошо, Дмитрий!

Прослушивание проходило хорошо. Учителя, которые проводили тестирование, оказались не такими уж и страшными. Спрашивали, я отвечал, снова спрашивали и я снова отвечал. Называл свое имя, адрес, имена родителей, проводил простые арифметические действия — складывал, вычитал, наизусть по порядку называл буквы алфавита, в общем, был на удивление прекрасен и даже нравился сам себе.

Гольфы немного сползли, поэтому, сидя на стуле, неловко задрал ноги, чтобы подтянуть их. Уж больно хотелось не только чувствовать себя на высоте, но и выглядеть так же. Сидящие напротив меня учителя не оценили этого поступка. Не понравились им чуть ли не выше стола задранные ноги в сандаликах.

Одна из учительниц, та, что была старше всех, худощавая, с острым английским лицом и тонкой шеей, от удивления открыла рот и откинулась на спинку стула. Я тут же почувствовал резкую перемену отношения к себе. Воздух в классе потяжелел. Чтобы вдохнуть его, необходимо было приложить огромные усилия. Казалось, что я сейчас задохнусь. Опять затряслись губы и подбородок.

Учительница с английским лицом посмотрела на мою маму. После некоторой паузы она взяла со стола книжку и протянула мне:

- Почитаешь нам?
- Да, — еле слышно ответил.

Это была тонкая детская книжка. На обложке был нарисован мальчик в огромной шапке-ушанке, в полушубке и в валенках. В руках у мальчика была «Азбука». Я взял книжку, положил перед собой и вслух прочитал:

— Эл, Эн, Тол-с-той, Фи-ли-п-пок.

— Открывай, читай, — с нескрываемой серьезностью (почти с отвращением глядя на меня) сказала английская учительница.

Я открыл книжку и начал читать. Буквы поплыли. Маленькие непохожие друг на друга кораблики сталкивались, набегали друг на друга, путались и снова разбегались в разные стороны. Слова распадались и мои глаза никак не могли собрать их в единое целое, а строчки все накатывали, как волны, и накатывали. В тот момент мне совершенно не хотелось быть «Дмитрием». Я чувствовал себя маленьким, никому не нужным человечком, который только и хотел, чтобы хоть кто-то прижал его к себе, успокоил, погладил по голове и назвал каким-нибудь нежным словом, воробышком, например, или даже воробышкой.

Чтение вслух никак не давалось, язык не слушался, зубы мешали, щеки то надувались, то, напротив, втягивались. Пыхтел, кряхтел, шепелявил, картавил, покрывался испариной. Гольфы опять сползли, но мне уже было все равно, не до них. Лишь бы скорее все это закончилось.

Английская учительница наконец-то произнесла:

— Спасибо, Дмитрий, хватит, — посмотрела на мою маму, — сами понимаете, рано...

— Да, — согласилась мама.

Я закрыл книжку, встал со стула и самостоятельно, без чьего-либо разрешения направился к дверям, на выход. Больше не мог находиться в том помещении ни секунды. Мама оторопела. Учительница тоже.

— Дима, а до свидания сказать? — крикнула мне вдогонку, но я уже выскочил за дверь в коридор. Дошел до стены, прислонился к ней спиной и сполз на корточки.

Через пару минут мама вышла. В руках у нее была та самая книжка:

— Не взяли, — вздохнула, — вот, книжку тебе подарили. Хоть не зря съездили.

— Ага...

До дома доехали быстро, без особых приключений, пообедали, я отпросился на улицу. Взял книжку, вышел во двор, уселся на лавочку и начал читать, водя указательным пальцем по строчкам. В книжке рассказывалось о мальчике по имени Филиппок, который так сильно хотел учиться, что сам пошел в школу, а когда пришел, учитель оставил его, несмотря на то, что Филиппок был еще совсем маленький. Прочитал, закрыл, положил на лавочку и пошел домой. В голове крутилась одна фраза: «Неправда какая-то».

Книжка так и осталась там лежать на лавочке, а я еще долго думал о том, что писать такие неправдоподобные истории, обманывать читателя, особенно такого, как я, нехорошо. Не могли взять Филиппка в школу, даже если он сильно-сильно хотел учиться. Меня же не взяли, а я уж в своем желании никак не уступал этому мальчику.

Полина Барскова, поэт (г.Амхерст, США)

**«Этот мир боится не пиратов,
он боится скуки»**

Всерьез задавшись вопросом, что же так привлекает меня в «Острове Сокровищ», я постепенно понимаю, что это не азартный хруст костей на пиратском флаге, не соленый, жаркий, обжигающий воздух странствий, не переливающиеся, недоступные и невозможные драгоценности: скорее, это ощущение тревоги, очень мне понятной и тридцать лет назад, да и сейчас.

Читателем этой книги овладевает тревога, главная эмоция, главная нота подростковости: ожидание, страх, незнание, желание — и метафоры, в которые все это воплотилось: океан и коварный предатель-пират, шармер-повар, он же лучший друг, надежда и опора юнги Джима.

Столько раз я перечитывала и пересматривала эту историю, что сюжет в моей голове совершенно изменил форму (лукавы законы перечитывания). Этим и сложен, интересен вопрос о любимой книге детства, которая идет с тобой, живет с тобой всю жизнь, меняясь, как и ты, подлаживаясь к твоим переменам. Думая об этой книге, закрывая глаза, я вижу, как из тумана неведения, невинности, выплывает шхуна и овладевает нашим героем, чтобы в конце уже он овладел ей и привел роман к развязке. Меня всегда поражало, что по-английски корабль это «она», самоуверенная, дерзкая «Испаньола», несущая героев к испытанию их на прочность.

Туман, который окутывает мир Джима в начале, исчезает, так открываются глаза у котят и щенков, так со временем узнаешь, что враг познается в беде, и учишься его ценить.

Автор романа — существо прихотливое: создатель одного из первых текстов о двойственности, о перетекании друг в друга Джекила и Хайда, о том, как трудно бывает различить Добро и Зло. Так же и «Остров сокровищ», роман о вхождении во взрослый мир, где все двойственно, мерцает, лукавит, может оказаться не тем, чем кажется, чем хочется: и сокровища, и наставники, и карта острова; роман о несоразмерности, о взрослении, о соотношении маленького и большого. Юнга Джим, кого сначала замечают не более, чем пиратского попугая, из наблюдателя, которого носит вдоль событий, как перекати-море, становится автором событий, их первопричиной.

При этом роман Стивенсона также трогателен: он изобилует эпитетами «ужасный», «невероятный», «таинственный»: этот мир, в первую очередь, боится не пиратов, он боится скуки. Вернемся к туману на побережье, куда Джим поначалу ходит с матушкой: именно от этого серого, вязкого тумана обыденности желает нас спасти Стивенсон, задумывая всю эту пронзительную вампуку.

Еще одна сильная нота здесь: память. Пираты все время вспоминают о своем ослепительном и отвратительном прошлом, здесь все, включая неотразимую черную метку, происходит из прошлого, возвращается. Из прошлого возникает и главный текст этого текста: карта острова, главное сокровище — это то, что можно читать, чтить, как реликвию, чему и за чем можно следовать на край света.

Это впечатление: когда нацарапанная нетвердой рукой, теперь уже ветхая, карта становится островом, оборачивается реальностью, — один из главных уколов этой книги.

«Остров сокровищ» — книга о мираже и соблазне, но Сильвер не только мерзкий подлец, все гораздо опаснее: он настоящий соблазнитель, как аббат Фариа у Дюма (еще одна неотразимая для меня история), он вводит юнгу Джима в соблазн пиратской вольницы, откуда вернуться почти невозможно. Любопытно, что именно одноногий Сильвер является главной фигурой притяжения в этой книге, а не очаровательные друзья Джима: безукоризненно мрачный капитан Смоллетт, безукоризненно безукоризненный доктор Ливси и безукоризненно легкомысленный сквайр Трелони (мой любимец, предшественник грядущих литератур катастроф обаяния, ненадежности и хвастовства, как, скажем, Карлсон). Джим и Сильвер нужны друг другу: Сильверу нужно ослеплять и покорять, Джиму нужно преодолевать, перерастать, оставлять за кормой.

С детства меня преследует проклятие Сильвера: завтра «те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым!» — завтра, всегда думаю я, вспоминая эту книгу, все повторится, живые смешаются с мертвыми, корабль-призрак отправится искать сокровище смысла, сокровище судьбы, маленький Джим отправится искать себя, а читатель отправится искать (и каждый раз находить) наслаждение от игры в пиратов и игры во взрослых.

Ирина Богатырёва, прозаик (г.Люберцы, Московская область) **Серёжкины рассказы**

Что такое литература и в чем ее отличие от невыдуманной истории, я не очень в детстве понимала. Граница была проницаема — где книжка, а где жизнь, где выдуманно, а где прожито. Да какая, собственно, разница? Не уверена, что для меня и сейчас-то эта граница является такой уж принципиальной, а тогда и подавно.

И все благодаря моему папе.

Дело в том, что мой папа — вдохновенный рассказчик. Яркий, увлекающийся, он с первых слов завладевал вниманием публики в моем лице и так выстраивал нарратив, так погружал в сюжет, что публика сперва немела, раскрыв рот, а потом требовала повторений.

— Про телегу! Про быка! Про то, как на тебя тетя упала! — командовала я, и папа в сотый раз рассказывал истории из своего деревенского детства.

Как по улице четыре мужика вели на цепях огромного колхозного быка, а тот вдруг вырвался и погнался за глазевшими пацанами. Пацаны врассыпную, мой маленький папа остался один, но не испугался, а смело залез на забор. Бык — бамц! — рогами, но сбить не может. Бамц опять — и застрял! Тут подбежали мужики, быка схватили за цепи и дальше повели.

Или вот про то, как папу-младенца носили мыть в общественную баню, и там огромная тетища, сто кило, упала на него с верхней полки! Рухнула — и ревет, и бабушка, папина мама, ревет, и все в бане ревет — решили, что папу раздавило, что от него мокрое место осталось. А папа ревет тоже, но не потому, что раздавленный, а потому что отскочил и о стенку ударился. Просто он весь намыленный был и из-под тетищи, как обмылок, выскочил.

Но моя любимая история была про то, как папа с большими мальчишками воду с реки на телеге возил. Они вкатывали бочку в телегу по доске, а потом перекидывали эту доску через ту же бочку и, пока кобыла волокла телегу в горку с речки, катались там, как на качелях. Но папа маленький, легкий, он как сел — так и навернулся с этой доски, и прямо под колеса телеги! А она ему по голове проехала. Мальчишки перепугались — отрезало голову-то! — кобылу хлестать, и погнали в деревню. А папа поднялся, что такое — темно, ничего не видит. Кое-как домой бредет, а в деревне все бегают орут: отрезало, мальчонке голову отрезало!

Просто дорога была очень грязная, голова целиком в грязи утонула, вот папа и выжил.

Но были у него и другие истории, из городского детства — их семья много переезжала, и папа везде успел пожить. В этих историях все было не так рискованно, но тоже интересно. Там папа манную кашу из окна выбрасывал, светлячка в коробочке держал, в цирк ходил со своим другом Мишкой... Этих историй было очень много, поэтому папа читал их по книжке. С не меньшей выразительностью и вдохновением. Записал эти папины истории писатель Виктор Драгунский. Я их ужасно любила, не меньше, чем деревенские.

Правда, кое-что меня все же смущало.

— Папа, а почему тебя в книжке зовут Денис?

Ответ на этот вопрос менялся по мере моего взросления:

— А это потому, что я, когда был маленьким, был Денисом, а потом вырос и имя поменял. — Или позже: — Это потому, что писатели всегда своим героям другие имена дают, не как в жизни. Чтобы они хоть немного, но отличались.

— А Мишке почему не поменял? — не унималась я (лучшего друга моего папы, соратника во всех его приключениях действительно звали Мишкой).

— Потому что он персонаж второстепенный, не так важно.

— А откуда писатель вообще все это про тебя узнал?

Не помню, что отвечал на это папа, видимо, мне это было не так-то важно. Гордость за то, что про папу написали целую книжку, была важнее. И, приходя в сад, распираемая этой гордостью, я собирала вокруг себя группу, и начинались бесконечные пересказы папиных историй: про быка и отрезанную голову, про манную кашу и «расскажите мне про Сингапур», про тетку в бане и как Мишка с Денисом — который на самом деле не Денис, а Сережа, но мы-то об этом никому не скажем — выкрасили сестру краской из шланга.

Группа слушала, разинув рты. Меня уважали. Это был мой проверенный способ поддерживать в саду авторитет.

Все кончилось как-то разом. Не помню, кто мне открыл глаза, наверное, воспитательница: «Это не про твоего папу, это у писателя Драгунского есть сын Денис, вот про него он и писал рассказы».

Почему-то я поверила ей тут же. Сработала магия имени: если есть Денис, который и на самом деле Денис, значит, это и правда не про папу Сережу.

И значит, папа мне врал.

Мой лучший на свете папа...

— Это неправда! Это все не про тебя! — ревела я вечером дома.

— Ну, кролик, это же и про меня тоже, про наше поколение, про всех нас...

— Неправда! Это не про тебя, не про тебя, не про тебя! Ты не Денис!

Я была безутешна. У меня рухнул мир, а вы мне про тонкости литературы.

Наконец, проревевшись, проикавшись, я затихла в своей комнате — и до меня стал долетать разговор родителей на кухне.

— Но я думал, она понимает! — говорил папа в отчаянии. Я впервые слышала у него такой потерянный голос.

— Понимает что?! — изумлялась мама. — Что это не про тебя?

— Нет, про меня! И не про меня... Но это же все условности!

— Шестилетний ребенок? Сереж! Ты меня удивляешь!

И тут у меня в голове что-то сработало. Нет, он меня не обманывал — он просто меня переоценил. Считал меня умнее и догадливее. Думал, что я соображу. Про границу между вымыслом и реальностью, повседневностью и литературой, про тот волшебный момент, когда жизнь переходит в текст, а текст становится частью жизни. Важной, неотъемлемой частью. И папа делал это для меня: рассказывая свои — не свои истории, делясь со мной своим — не своим детством, он позволял мне преодолевать с ним эту границу условности.

Я это, конечно, все только потом до конца поняла. Как и другое — про общее детство, не личное, а поколенческое. И про магию текста, которая позволяет ему выходить за пределы личного опыта автора, вербализовать чей-то чужой опыт, говорить от чужого лица, — много позже поняла.

Но тогда мне удалось сообразить главное: что папа меня не обманывал. Он просто относился ко мне по-взрослому.

Папа еще долго формировал мой круг чтения. И читал мне вслух, я это очень любила: Дюма и Стругацких, Кира Булычёва и Джека Лондона... Теперь же в качестве алаверды новые книги подкидываю ему я.

А «Денискины рассказы» я перечитала несколько лет назад. Глупости сказала та воспиталка: это все и правда про моего папу.

Александр Бушковский, прозаик (г.Петрозаводск)

Феномен зла и настоящей жизни

«Сквайр Трелони, доктор Ливси и другие джентльмены попросили меня написать все, что я знаю об Острове Сокровищ. Им хочется, чтобы я рассказал всю историю, с самого начала до конца, не скрывая никаких подробностей, кроме географического положения острова. Указывать, где лежит этот остров, в настоящее время еще невозможно, так как и теперь там хранятся сокровища, которых мы не вывезли. И вот в нынешнем, 17... году я берусь за перо и мысленно возвращаюсь к тому времени, когда у моего отца был трактир “Адмирал Бенбоу” и в этом трактире поселился старый загорелый моряк с сабельным шрамом на щеке...»

Ну? Как вам начало? По-моему, лучше не придумашь. Идеальное начало идеального романа. Не какое-нибудь там унылое: «Смеркалось. Владимир вышел на крыльцо и посмотрел в синеющую даль» или псевдооригинальная замануха типа: «...И во-вторых!», а четкое и конкретное вступление к в высшей степени интересному историческому документу, не вызывающему к тому же никаких сомнений в своей правдивости и, я бы даже сказал, подлинности. Долгие годы я был уверен на все сто, что Стивенсон рассказывает о своем собственном отрочестве, и неважно, что Джим Хокинс жил лет за сто пятьдесят до Роберта Луиса. Именно Луиса, а не Льюиса, как пишут в некоторых изданиях. Но не в этом дело. Скажите, кто-нибудь сомневается в том, что Джим Хокинс, доктор Ливси, сквайр Трелони, а также все остальные участники этой приключенческой драмы, особенно Долговязый Джон Сильвер, действительно жили в восемнадцатом веке и пытались убить друг друга (и часто убивали) в поисках сокровищ на мрачном необитаемом острове, а не были выписаны на бумаге задумчивым человеком средних лет со слабым здоровьем?

Вступление это теперь вызывает во мне зависть, как раньше вызывало восторг. Здесь столько раздражающих воображение слов, фактов и смыслов, что хватит не на один роман. И Стивенсон еще пощадил нас, написав только один такой. А может, просто не успел сочинить продолжение о том, как сложились судьбы героев романа, оставшихся в живых, умер в сорок четыре года. Оставив нам сорок томов своего литературного наследия: романов, рассказов, статей, стихов, очерков и путевых заметок. И всего только одну небольшую книжечку о приключениях простого паренька на пиратском острове!

После первого абзаца я уже там, в 17... году, в старой Англии, королеве морей. Это мне, именно мне, а не сквайру Трелони, доктору Ливси и другим джентльменам хочется узнать все подробности этой истории, с самого начала и до конца, и на последней строчке с испугом услышать, как попугай Сильвера хриплым голосом кричит: «Пиастры!» «Остров сокровищ» — роман ясный, простой и по замыслу, и по выполнению, — пишет в послесловии к изданию 1985 года Иван Кашкин, переводчик другого стивенсоновского романа. Точно, Иван Александрович! — восклицаю я. — Простой и ясный! Особенно для меня, деревенского паренька времен заката социализма, когда в разных источниках «сквайр» переводился то как «помещик», то как «дворянский титул в Англии»; «джентльмен» вообще имел кучу значений — от хорошо воспитанного мужчины благородного сословия до человека, имеющего право носить оружие, а «трактир» отличался от «таверны» лишь красотой звучания. Все это ясно и просто, короче, понять можно, когда так интересно! Так и представишь себе вымбовку, гандшпуг, крьюйс-марс и фок-зейл. И то, что повествование сначала ведется от лица мальчишки, только начинающего жить и уже попавшего в жестокую переделку, после переходит к взрослому мужчине, доктору, джентльмену и ветерану, и потом возвращается

обратно, конечно, тоже не представляет сложностей автору, а мне, читателю возраста Джима, просто облегчает понимание и расширяет горизонты. Ну да ладно! Зато ясно, как день, что остров есть.

Остров точно есть (хоть и жаль, что без координат), и есть сокровища, еще даже не вывезенные оттуда, и уже появился старый загорелый моряк с сабельным шрамом на щеке! Скорее дальше! Загорелый — значит ходил по южным морям. Вы заметили, я говорю «ходил», а не «плавал», я уже кое-что смыслю в морях. Сабельный шрам — это не какой-нибудь там синяк от хулиганского кулака или царапина от гвоздя в заборе. Шрам свидетельствует о том, что старый моряк дрался не на жизнь, а на смерть, участвовал в морских сражениях, где или побеждаешь, или отправляешься рыбам на закуску, ветошью прикинуться не выйдет! Да-а! Вот это я называю настоящей книгой! О настоящей жизни, полной опасностей и приключений!

Погодите, это только начало. Через несколько страниц окажется, что наличие шрама — не главное в мужчине, так же как и умение постоянно пить ром (что такое этот ром, он, наверное, очень вкусный?), как пугающее сквернословие и леденящие душу рассказы о виселицах, штормах и смертельной лихорадке Жёлтый Джек. Настоящий мужчина — джентльмен без сомнительной приставки «удачи», а джентльмена отличает скромность, твердость характера и верность своему слову и долгу. В ответ на грубость и наглость джентльмен отвечает: «Если вы не перестанете пьянствовать, вы скоро избавите мир от одного из самых гнусных мерзавцев!» А на угрозу матросским ножом «Доктор (*Ливси*) даже не шевельнулся. Он продолжал говорить с ним, не оборачиваясь, через плечо, тем же голосом — может быть, только немного громче, чтобы все могли слышать. Спокойно и твердо он произнес: — Если вы сейчас же не спрячете этот нож в карман, клянусь вам честью, что вы будете болтаться на виселице после первой же сессии нашего разъездного суда». Вот так джентльмены, люди образованные, свободные и благородные, осаживают негодяев и грубиянов, исповедующих хамство, религию рабов.

Или вот как отвечает на ультиматум врага капитан Смоллетт, с горсткой товарищей окруженный в деревянном домишке троекратно превосходящей по численности бандой пиратов. На ультиматум, который безжалостный Сильвер заканчивает словами: «Если вы откажетесь, вместо меня будут говорить наши ружья. <...> А те из вас, кто останется в живых, позавидует мертвым». «Отлично, — сказал капитан. — А теперь послушайте меня. Если вы все придете ко мне сюда безоружные поодиночке, я обязуюсь заковать вас в кандалы, отвезти в Англию и предать справедливому суду. Но если вы не явитесь, то помните, что зовут меня Александр Смоллетт, что я стою под этим флагом и что я всех отправлю к дьяволу».

В общем, храбрость и честь сильнее подлости и жажды наживы. Из книжки Стивенсона это и дураку станет ясно. Остается только одна загадочная фигура — корабельный кок и глава заговорщиков Джон Сильвер. Вот уж феномен так феномен! Вообще, почти в каждом романе Стивенсона есть обаятельный злодей, но тут он выписан особенно выпукло. Кулинар и убийца, весельчак и лжец, смельчак и предатель. Не только автора, но и многих из нас занимает природа зла, его суть и нутро. Почему иногда (изредка, давно, в молодости) во мне просыпалось желание запустить обломком кирпича в зеркальную витрину магазина или в огромное оконное стекло банка? А уж вынести под шумок миллион из этого банка кто из мужчин не мечтал? В мелких и средних купюрах, с разными сериями и номерами. Да и некоторым девушкам часто больше нравятся brutальные негодяи, чем страдающие и переживающие за правое дело положительные герои, пусть и романтики. Отчего? Оттого, что натура человеческая склонна ко греху? Хорошее объяснение, но не очень убедительное. Какое-то умозрительное...

Джон Сильвер не brutalен и не романтичен. Он прагматичен. При всех его достоинствах он циник и подлец. И все же мне не хочется, чтобы честный и

благородный капитан Смоллетт всадил ему пулю в спину, как обещал, или недовольные его руководством пираты низложили его черной меткой и подняли на свои ножи, и тем более я против того, чтобы он болтался на виселице где-нибудь в Бристоле, звеня железными оковами, и над ним кружили вороны, и моряки показывали на него пальцем, говоря один другому: «Это Джон Сильвер. Я хорошо его знал». И я знаю, почему я против этого. Из всей совокупности плохих и не очень плохих черт, составляющих личность Сильвера, выделяется одна, ради которой я с радостью прошу ему его измену. Это чувство юмора.

Юмор Сильвера — это юмор самого Стивенсона, вложенный в уста его едва ли не главного персонажа (две части романа из шести названы автором в его честь — «Судовой повар» и «Капитан Сильвер»). Это озарение посетило меня, только когда я раз сорок за двадцать лет перечитал роман и уже знал наизусть многие сцены и диалоги. Во время одного из таких перечитываний я вдруг заметил, что смеюсь над ремаркой автора, не относящейся к Долговязому Джону. Прошу извинить меня за короткий и бледный пересказ захватывающего авторского текста.

Оставшиеся в живых пираты, больные и измученные, обретя вождя карту острова, идут на поиски сокровищ и вдруг слышат в лесу жуткий голос, который выкрикивает предсмертные слова Флинта, их бывшего капитана, жестокого убийцы, умершего много лет назад в страшных мучениях. Все, включая Сильвера, дико пугаются и теряют волю и мужество продолжить начатое дело. Но Сильвер быстрее других берет себя в руки и доказывает всем, что голос этот не голос привидения (поскольку у него есть эхо) и не голос Флинта, а похож? скорее... да! Это голос Бена Ганна, бестолкового и безобидного матроса, никем не воспринимаемого всерьез. Пираты быстро приходят в себя, и только молодой Дик сомневается:

«— А велика ли разница? <...> Бен Ганн покойник, и Флинт покойник.

Но матросы постарше презрительно отнеслись к его замечанию.

— Плевать на Бена Ганна! — крикнул Мерри. — Живой он или мертвый, не все ли равно? <...>

Он сказал правду: жив ли Бен Ганн или мертв, его не боялся никто».

Конечно, многим это не покажется смешным, но я почему-то смеялся.

Чувство же юмора самого Сильвера требует отдельного акцента. В той же сцене поиска сокровищ пираты сначала находят скелет человека в лохмотьях истлевшей одежды, опять же поначалу пугаются, но потом внимательно разглядывают его.

«— Это моряк, — сказал Джордж Мерри. <...> — Одежда у него была морская.

— Конечно, моряк, — сказал Сильвер. — Полагаю, ты не надеялся найти здесь епископа?»

Начав просматривать в тексте монологи Джона Сильвера, я с дурацкой улыбкой опять залип в книжку и вдруг подумал, что из моего сумбурного сочинения не ясно, почему же пираты выбрали себе капитаном пожилого одноногого повара. В прекрасном переводе Н. Чуковского Сильвер сам говорит, что он не был капитаном, капитаном был Флинт, а он был у Флинта квартирмейстером, то есть заведующим продовольствием, и «старые пираты Флинта слушались его, как овечки». Квартирмейстер меня не устраивал, поскольку я сумел узнать об этой должности только то, что она сугубо хозяйственная. Но тут я увидел по телевизору выступление замечательного писателя Михаила Веллера, который, как оказалось, уважает Стивенсона не меньше моего. Михаил с присущими ему жаром и эмоциональностью объяснил, что термин «квартирмейстер» происходит не от квартиры, а от английского морского термина «квартирдек», обозначающего верхнюю часть палубы корабля, с которой первой идет в бой на вражеский корабль абордажная команда, и звучит он, скорее, как «квартирмистер», то есть повелитель этой отчаянной орды. Квартирмистер — второе лицо на корабле после капитана. Все стало на свои места — попробуй-ка

не послушайся капитана второго ранга и командира корабельного спецназа, можно сказать, морской пехоты.

О! Вот еще пара фраз Сильвера на закуску, и надо закругляться. «Я потерял ногу в том же деле, в котором старый Пью потерял свои иллюминаторы», — говорит Сильвер, имея в виду глаза своего соратника Пью. Не знаю, называли ли в то время корабельные оконца иллюминаторами, но дело не в этом, а в том, что, несмотря на всю черноту этой шутки, мне снова смешно. Или в том же духе (обращаясь к своим товарищам): «Если бы вы умели взять правильный курс и держаться его, вы все давно катались бы в каретах. Но куда вам! Знаю я вашего брата. Налакаетесь рому — и на виселицу». Нет, простите, не могу пройти мимо еще одного перла корабельного кока и по совместительству главаря заговорщиков: «Долг прежде всего, ребята. И я голосую — убить (*это он о противниках, которых предполагается взять в плен*). Я вовсе не желаю, чтобы ко мне, когда я стану членом парламента и буду разъезжать в золоченой карете, ввалился, как черт к монаху, один из этих тонконогих стрекулистов».

Прошу простить меня за то, что мне нравятся эти грубые шутки, но именно благодаря им мне так и не удалось возненавидеть Сильвера и начать его презирать. Фигура главного злодея стоит особняком от остальных пиратов и остается таковой до самого конца романа. Словно Стивенсон хочет признаться мне, что аксиома «добро побеждает зло» неочевидна и все же требует доказательств. Потому и ускользает «одноногий дьявол» от справедливой кары, да еще и с помощью смешного недотепы Бена Ганна, главного виновника его фиаско, который так боится Сильвера, что сам помогает ему сесть в лодку и скрыться с мешочком золотых монет. Они, «несомненно, пригодятся ему в дальнейших скитаниях».

Пожалуй, все, о чем я говорил, — только малая часть тех впечатлений от любимой книжки моего детства, какими я мечтал бы поделиться. Однако, чтобы поделиться остальными, пришлось бы процитировать ее всю и всю прокомментировать. Ну, может, кроме первого абзаца.

P.S. «— Что же делать с этой черной меткой, приятели? Теперь она как будто ни к чему. Дик загубил свою душу, изгадил свою Библию, и все понапрасну.

— А может быть, она еще годится для присяги? — спросил Дик, которого, видимо, сильно тревожило совершенное им кощунство.

— Библия с отрезанной страницей! — ужаснулся Сильвер. — Ни за что! В ней не больше святости, чем в песеннике...»

Алексей Варламов, прозаик (г. Москва)

«Мальчик по-прежнему обещает не плакать...»

Одним из самых загадочных персонажей моего детства был родной брат моей бабушки Георгий Анемподистович Посельский — дядя Юра, как я его звал. Это был высокий, прямой, суховатый старик, инженер, прошедший всю войну и поднимавший потом нашу промышленность, но при этом человек в отличие от бабушки глубоко несоветский, одинокий, очень сдержанный — в общем, настоящий русский дворянин, осколок другой, неведомой мне дореволюционной России. Он иногда гостил у нас на даче в Купавне, разговаривал с бабушкой по-французски о политике, чтобы мы не могли понять его возмущенных речей и ссылок на «Би-би-си» или «Голос Америки». У самого у него внуков не было, и на нас, галдящих, невоспитанных, чумазых, вечно

утаскивающих с кухни куски хлеба или играющих перед домом в игру с неприличным названием «жопки», он смотрел, по-моему, с таким же ужасом, как и на все советское царство-государство. Однако ж на дни рождения дарил всякий раз мне книги. Нет, это была никакая не антисоветская детская литература, если только такая бывает, ни даже почтенная русская классика, но какие-то сочинения, которые мне навсегда запомнились, и больше всего — одно из них.

Эта книга называлась «Сага о малыше Хьялти» и была написана исландским писателем Стефаном Йоунссоном — такой своего рода роман воспитания, взросления, история человеческой души. Я прочитал ее не один раз, я с этой книгой жил, полюбил ее главного героя и чувствовал его как себя, хотя что общего было у обыкновенного советского школьника из Пролетарского района города Москвы застойных лет и исландского мальчика начала двадцатого века, выросшего на маленьком хуторе Лейгамири в центральной части далекого острова в северной части Атлантического океана? Мальчика, который и в школу-то не ходил, потому что его отец умер, мама живет с маленькой сестрой на другом хуторе, а он должен работать за кусок хлеба, да еще унижаться и благодарить своих надменных хозяев, разбираться в их сложных взаимоотношениях и быть, по сути, их заложником. Что было мне до него и этих запутанных обстоятельств? Однако что-то было, и до сих пор для меня это и есть великая тайна литературы, которая прорывает границы времени и пространства, взламывает политические системы, сближает далекое и разделяет близкое. К тому же сага была удивительно проиллюстрирована Орестом Верейским, и текст, в котором герои и без того были как живые — тут, наверное, сказался отменный перевод, — и рисунки, где ты видел этих людей: самого малыша Хьялти, его подружку Хельгу, строгую хозяйку Сольвейг, ее малахольного мужа, красавицу Сиггу, в которую девятилетний Хьялти влюблен и хочет на ней жениться, мальчишек с соседнего хутора, — так вот слово и картинка соединялись таким образом, что я уносился из своего заводского района, от грязных улиц, дворовой шпаны, от своей замечательной английской спецшколы с ее тошнотворными педагогическими нравами на дальнюю прекрасную землю к мальчику, старающемуся никогда не заплакать. Даже тогда, когда пропала в снежном бурене подаренная ему на день рождения овечка — единственное богатство маленького батрака. Упорный, целеустремленный, очень живой, искренний, но при этом ни капли не заносчивый — он мне был страшно симпатичен и сделался кем-то вроде брата, которого у меня не было.

«Сага о малыше Хьялти» — книга очень печальная и очень смешная, трогательная и ироничная, снисходительная и беспощадная. Богатая положениями, характерами и лицами, детским взглядом на взрослый мир и взрослым отношением к детству, и мне очень жаль, что она мало кому в нашей стране известна и с тех пор ни разу не переиздавалась. О ее авторе в русском интернете нет ничего, да и в английском тоже лишь общие сведения. Когда родился, где учился, что написал и когда умер. Правда, в предисловии было сказано, что Стефан Йоунссон всю жизнь проработал учителем в школе и был большим другом Советского Союза. Может и так, тогда в друзья СССР кого только не записывали, но мне кажется, что этот человек по своему характеру просто не мог быть ничьим врагом, и я бы очень хотел с ним встретиться и поговорить. И страна Исландия, где я никогда не был и которую видел лишь с высоты самолета по пути в Америку, так и осталась для меня страной хуторов, патриархальных отношений, овечьих стад, загонов, снежных бурь, быстрых ручьев и холмов, среди которых ищет свою пропавшую овечку веснушчатый мальчик, нарисованный Орестом Верейским.

Я всегда о нем помнил и всем, кому мог, про эту удивительную книгу своего детства рассказывал, но долгое время я не решался ее перечитывать, боясь разрушить очарование детского восприятия, и сделал это лишь нынешним безумным летом, в пресловутой самоизоляции, когда от обалдения чем только не займешься. Открыл,

начал читать как в первый раз, но постепенно возвращаясь в далекие годы, узнавая, вспоминая, открывая новые смыслы и понимая, что не ошибся. Это действительно выдающееся творение, в равной степени захватывающее и ребенка, и взрослого человека, когда на глаза и у того, и у другого наворачиваются слезы. Умиления, сочувствия, восторга — чудная, чудная книга. Да, дядюшка мой обладал отменным чутьем русского инженера, и давно нет в живых ни его, ни Стефана Йоунссона, а мальчик Хьялти по-прежнему обещает не плакать, но не выдерживает и плачет о том, что никто не придет назад...

Андрей Геласимов, прозаик (г.Москва)

«Провинившиеся книги помещались под арест»

Как-то раз я вернулся из школы и увидел свой книжный шкаф пустым. Чувство сиротства такой же остроты я переживал потом не более трех раз. Мама сказала, что выбросила мои книги. Я нагрубил ей, о чем жалею вот уже более сорока лет, и тогда она открыла дверь в кладовку. Все книги аккуратными стопками лежали там на полу. Шкаф с ними был слишком тяжелым, а его требовалось передвинуть. Но вообще в семье практиковались наказания в виде запрета книг. Родители быстро нащупали мое уязвимое место. Томик перемещался с моего стола на телевизор, откуда взять его разрешалось только после амнистии. Впрочем, не уверен, что эта штрафная система не выдумана мною позже. Надо уточнить у мамы. Так или иначе, книги моего детства оказались основательным рычагом, чтобы раскатать мои отношения с внешним миром. Учителя выгоняли из класса за то, что читал под партой. В начале семидесятых годов прошлого века эти смешные столы были очень удобны для подобной цели — приподнимаешь зеленую крышку и потягиваешь контрабандой из полутьмы то Урфина Джюса, то Капитана Немо. Тогда эти имена звучали для меня мощнее, чем сейчас любимые названия односолодовых напитков. Провинившиеся книги изымались и помещались под арест. Чтобы выручить друга, приходилось вести в школу маму. И это, в свою очередь, подрывало кредит доверия к литературе в семье. Мы были в какой-то степени изгоями — я и те книги. Подозрительными лицами, с которыми ухо надо держать востро. Если честно, мне и сейчас иногда кажется, что подозрения далеко не сняты.

Юлий Гуголев, поэт (г.Москва)

По стопам беспутного героя

Прямо скажем, книжки любил, но не очень. Во всяком случае, книжки без картинок. А любил — ходить в кино, а после — есть мороженое... вообще, любил *есть на улице*. Но на все это требовалось разрешение взрослых. И деньги.

Да! Деньги тоже очень любил. Помню, как сейчас: мне лет шесть, под новогодней елкой нахожу подаренный мне железный рубль с Лениным. О, как был прекрасен мой первый Ильич! Я любил его больше книг. Вскоре, кстати, он был конфискован

в семейный бюджет кем-то из близких родственников. Да, деньги и только деньги могли дать свободу и утолить дикие прихоти детства, как правило, сводившиеся к количеству порций и сочетанию различных сортов продукции Хладокомбината № 8. О миражах шашлыков и чебуреков в Сокольниках тоже грех не вспомнить, но речь сейчас не о них. Когда б я был, как Монте-Кристо! Я бы купил все и даже угостил товарищей. Но мне было слишком ясно, что дивный отсвет сокровищ Борджиа никогда не озарит бесправную тьму моего детства. А потому, что проку перечитывать Дюма и впустую дразнить свою алчность и свободолюбие. Нет, я читал, читал и перечитывал Джеймса Гринвуда. «Маленький оборвыш». Джим Бализет скитался по улицам Лондона, удачно запуская руки в чужие карманы, после подсчитывал криминальные барыши: пенсы, шиллинги, соверены, гинеи... У меня дух захватывало от этих названий. И я никак не мог понять, а сколько же это будет в моих железных, новогодних Ильичах? Сколько стаканчиков по 19 коп. можно купить на одну гинею? Останется ли еще сдача, чтобы в незнамо какой раз сходить на «Золото Маккены», все из-за той, со шрамом, индианки? Правда, на украденные деньги покупал мой герой совсем не мороженое, а какие-то, в то время трудно представляемые мной, пудинги — то гороховый, то мясной. Нет, я знал, что такое пудинг, но все известные мне пудинги всегда были десертами. Так что за Джима в этом смысле я мог не волноваться. И спать его в девять вечера никто не загонял. Вот она — свобода! — финансовая, гастрономическая и свобода передвижения!

Да, я увлекся, поверил и пошел по стопам своего беспутного героя. Я стал приворовывать в гардеробе музыкальной школы. Я помню тяжелый плеск мелочи на дне иного кармана, горечь разочарования, если карман пуст, боязнь разоблачения и удивительное отсутствие стыда. Джим Бализет вел меня. Сначала в гардероб, потом в галантерею, где был куплен и подарен маме на 8 марта паучок из поддельного янтаря, а также один, нет, два перочинных ножичка. Сколько фильмов мы посмотрели вместе с Джимом, сколько гороховых лакомок и мясных эскимо умяли на грани ангины! Но не все было потрачено впустую. Что-то было отложено про черный день. Думаю, рублей пять или семь: трояк, а остальное мелочью. Поддельной кожи кошелек, купленный все в той же галантерее на Кутузовском, принял мои богатства. Кошелек был упрятан в старый, одинокий вязаный носок, а тот, в коробке из под настольного хоккея, отправлен под книжный шкаф. Борджиа бы до такого не додумался. Но однажды, во время уборки, моя мама обнаружила всю эту матрешку (яйцо в утке, утка в зайце, заяц в шоке), вытащила коробку из-под шкафа, а меня — на чистую воду. Я сразу начал кричать: «Я не крал! Я не крал! Я нашел!» — чем, кажется, выдал себя с потрохами. Значит так, сказала мама, если эти находки не прекратятся... Договаривать фразу до конца нужды не было. Мне оставалось только утешаться тем, что и Джим Бализет запорол свою карьеру карманника и перестал промышлять в Ковентгардене.

С тех пор и я больше не воровал. Нет, однажды, в Лос-Анджелесе, я как-то по пьяной лавочке решил стянуть в супермаркете упаковку нарезанной ветчины за два тридцать пять (обычно-то я покупал за 99 центов). Слава богу, меня не застукали. Я пришел в свою нору, я сел перед телевизором, хлебнул пивка и стал закусывать краденной убоиной. И вот почему-то в этот момент вспомнил о своих воровских похождениях. И заплакал. «...и, плача, вспомнил про Стоушера — Билла, вспомнил, как отделал его в тот давно прошедший вечер. Бедный, старый Стоушер Билл! Теперь Кинг хорошо понимал, почему Билл плакал в раздевалке».

Но это, как вы сами понимаете, уже совсем другая история.

Максим Гуреев, прозаик (г. Москва)

Времена чтения

Мать говорила ему — тогдашнему мне: не вздумай расчесывать волдыри, а то на всю жизнь останутся шрамы.

Волдыри чесались страшно, конечно, зудели, но он старался не прикасаться к ним и не думать о них. Только и оставалось, что смотреть на свои руки, размеченные зеленой словно местность на контурной карте, да вставлять пальцы как закладки между страниц лежавшей перед ним на одеяле книги.

Это были «Мёртвые души», которые он про себя называл «МД», потому что боялся слова «мертвые», а значения слова «души» не понимал.

Читать поэму Гоголя задали на зимние каникулы, но после Нового года заболел ветрянкой, несколько дней пролежал с температурой сорок, потом в ход пошла зеленка, и по ночам, когда никто не видел, все-таки эти самые волдыри расчесывал, потому что они высверливали кожу откуда-то изнутри, пузырились и лопались, исходя горчичной жижей.

Дул на болячки, веял на них холодком.

Дул на страницы и тем самым их перелистывал.

Никогда не думал, что прочитанное в болезненном состоянии будет таким объемным, ярким, переливающимся, как осколки цветных стекол в трубе калейдоскопа. Почему-то воображал себе, будто бы человек в колпаке и грязном салопе, чесался так же, как и он, шепелявил беззубым ртом, называл себя то ли Стефаном, то ли Степаном Петровичем, вариант, Кузьмичом, имел фамилию Плюшка, вонял какой-то дрянью, серебрился щетиной, как выгоревшей на солнце травой, подводил глаза сурьмой, кряхтел, пускал ветры.

Странно, но почему-то именно этого персонажа вспоминал в первую очередь, хотя знал наверняка, что в книге были и другие. Вполне себе благообразные и даже симпатичные — Заманилов, например, или Ноздрин.

Примеривал Плюшку на себя при чтении.

Вот, например, чтобы почесать спину, Степан то ли Петрович, то ли Кузьмич, использовал специально для того случая изготовленную трость с притороченной на конце гребенкой. Ёжился, воображая себе, как это должно быть удобно забираться туда, куда дотянуться руками уже невозможно, мечтал о таком приспособлении, посматривая в сторону стоящих у двери лыжных палок.

Утром приходила мать и смазывала лопнувшие болячки, снова говорила про «не вздумывать расчесывать волдыри» и про шрамы на всю жизнь и уходила на кухню.

А он лежал какое-то время неподвижно, ждал, когда высохнет зеленка, и представлял себе точно такого же неподвижного, словно окаменевшего помещика Михаила Семеновича Собакина, хотя точнее было бы его поименовать Медведевичем или Топтыгиным. Дотягивался подбородком до края одеяла и словно бы упирался в стоящий колом, отороченный бархатом ворот сюртука. Лицо при этом получало выражение угрюмое и недоверчивое, потому что нижняя губа выступала вперед, отключивалась и стремилась достичь кончика носа.

«Вылитый Медведевич, — мыслилось, — вылитый Топтыгин».

Потом оживал и начинал шевелиться в кровати.

Брал книгу, вставлял в нее пальцы-закладки, считал до десяти и наугад открывал МД на безымянном пальце.

И тут же в комнату входил мальчик по имени Прохор, лет тринадцати, не более, в огромных, как перевернутые самоварные трубы, сапогах, скорее всего, общего

пользования, то есть носить их могли все люди помещика Плюшки вне зависимости от пола и возраста.

Спотыкался, но ухитрялся при этом удерживать равновесие.

Ставил на табуретку рядом с кроватью стакан горячего чая с лимоном, а рядом клал бутерброд с колбасой.

— Максим, надо обязательно съесть бутерброд и выпить чай, — доносился с кухни голос матери, и Прохор тут же исчезал вместе со своими сапогами, гремел ими уже где-то на лестничной площадке, а им вторил мусоропровод, скорее всего, это соседи сверху выбрасывали пустые бутылки, потому что носить их сдавать в пункт приема стеклотары считали ниже собственного достоинства.

А Чичиков все куда-то ехал и ехал, бранил кучера Селифана, натирал щеки губкой, благоухал.

Когда он читал об этом бесконечном путешествии героя, то выбирался из-под одеяла, подкладывая подушку под спину и тут же переставал быть Собакиным. Следовал за Павлом Ивановичем неотступно и мог видеть лишь его спину в ладно пригнанном по фигуре жакете, лица же его при этом было не разобрать, следовательно, и Чичиков не имел возможности видеть перемазанного зеленкой мальчика, потому что предпочитал не оглядываться.

Впрочем, это было и к лучшему, ведь Павел Иванович мог подумать, что болеющий ветрянкой и есть одна из тех самых «мертвых душ», которой он не досчитался, подводя итог заключенной с помещиками сделке, или же имеет отношение к племени древних аравитян, историю которых он вслед за Николаем Васильевичем знал преизрядным образом.

Время пролетало незаметно, и мать приходила ставить ему градусник под левую руку. Книгу при этом он откладывал, вынимая из нее пальцы-закладки, а бричка продолжала перекатываться через овраги, оставшиеся в виде разводов бриллиантовой зелени на серовой, пахнувшей типографской краской бумаге купленного отцом на макулатурный абонемент издания.

Когда выздоровел и вернулся в школу, то выяснилось, что «Мёртвые души» уже прошли и читали что-то другое. Поверить в это было трудно, потому что для него поэма все не кончалась и не кончалась, а бричка Чичикова то исчезала за последним поворотом кривой разбитой дороги, то вновь появлялась на горизонте.

Понуро, словно в тумане, плелся по коридору, перебираясь из одного класса в другой, воображал себе, что преодолевает анфиладу комнат в доме помещика Заманилова, того самого, что виделся ему человеком вполне благообразным и симпатичным, затем спускался в гардероб, где среди сваленных в кучу мешков со сменной обувью обнаруживал огромные безразмерные сапоги, неведомо кому принадлежавшие. Оглядывался по сторонам и, убедившись, что вокруг никого нет, влезал в них, сразу проваливаясь по колени.

«А ведь эти сапоги вполне могли принадлежать помещику Топтыгину и были бы ему, скорее всего, даже несколько маловаты, — строил гипотезы, — или дюжему военруку Кифе Мокиевичу, в которых он маршировал на школьном плацу после уроков».

Затем переодевался, привязывал мешок со сменной обувью к портфелю и брел домой. Там запирался в ванной, пускал воду из крана, брал губку и начинал ей тереть себе щеки и лоб, на которых еще со времен чтения сохранились следы зеленки.

Ксения Драгунская, прозаик, драматург (г. Москва)

«Я читала книги о прошлом»

Когда я была маленькая, дома у нас, в квартире на Каретном, довольно часто был беспорядок, особенно на кухне. На обеденном столе валялось все что угодно — и, конечно, книги. Придя из школы, принявшись за куриный бульон или грибной супчик, я утыкалась в первую попавшуюся книжку. (Привычку читать за едой переняла у брата.) Хорошо шел за обедом «Справочник Союза писателей СССР» за 1961 год! Много смешных фамилий. Или брошюра с диалогами про самочувствие на английском языке (мама преподавала инглиш в медучилище). В доме было много книг неизвестных писателей, подаренных авторами моему отцу. Помню книжку «Никогда не угаснет», киевской писательницы, увы, фамилию не помню, про пионеров и беспризорников в Киеве 20-х годов. Зачитывалась! Была книжка писателя Аронова «Цирк приехал!», тоже про 20-е годы. Василенко, таганрогский писатель, «Приключения заморыша», Лидия Будогоская — «Повесть о рыжей девочке», А.И.Пантелеев — «Лёнька Пантелеев» — не оторваться!!! (Повзрослев, я поняла, что все эти захватывающие приключения питерского мальчика, потерявшегося во время Гражданской войны и ставшего беспризорником, — адский ад, страшно-то, больно-то как...) «Детство Никиты» — там так уютно...

Из зарубежных любила «Без семьи» Мало и английского «Маленького оборвыша».

А, вот! «Судьбой барабанщика» Гайдара была очарована. В студенчестве хотела экранизировать. Ох и летели же мы с режиссером куда подальше со студии Горького!.. (Были у нас там кое-какие задумки про папу главного героя и про старика Якова...)

Я читала книги о прошлом. Современная советская детская литература казалась мне фальшивой, назидательной, делящей персонажей на «положительных» и «отрицательных». Хотя с теплом вспоминаю книжки «Золотые яблоки Гесперид» питерского автора <Валентин Тублин. — *Прим. ред.*>, книжку «Чуть-чуть считается», автора не помню <Константин Курбатов. — *Прим. ред.*>.

Не знаю, какая книга на меня повлияла. Наверное, все разом...

Рассказы и повести отца я читать не могла физически, хоть и пыталась, уединившись. Мигом — рыдания. Честно, я прочла эти рассказы, когда уже сын был у меня. И поняла, что на самом-то деле они очень, очень грустные...

Олег Ермаков, прозаик (г. Смоленск)

Рапсод, или Книга на устах брата моего

Моя ранняя и самая интересная в жизни книга была устной. Первые ее главы я услышал в месте странноватом, на окраине Смоленска, во дворе перед одноэтажными шлакобетонными домами на четыре семьи обочь забора с колючей проволокой, на углу которого стояла вышка с вооруженным часовым. На запад простиралась пустошь, казавшаяся, конечно, огромной степью или прерией. Пустошь обрывалась в овраг. А за оврагом темно краснели стены и башни крепости. И еще дальше, за крепостью золотились луковки куполов собора. Крепость была Годуновской, собор тоже почтенного возраста, за колючей проволокой находилась зона, ИТЛ № 7, прозванная в народе

кроватной фабрикой, может, там действительно делали что-то вроде кроватей, но тогда я еще всего этого не ведал. Вышка и забор с колючей проволокой и бараками за нею были частью пейзажа, совершенно неинтересной. А вот манили — стены и башни. Я это прекрасно помню. Но по малолетству не мог преодолеть все эти преграды: пустошь, овраг, и, главное, пригляд бабы Веры. Хотя однажды все-таки убежал, но слева увидел яблони и смалодушничал, свернул к ним и оказался в питомнике. Там и был настигнут погоней.

А вот брат Игорь оказался удачливее.

Он старше на пять лет. Вместе с другом по кличке Кит — из-за крупности — они побывали в крепости и потом рассказывали нам, мелюзге, об этом походе. В овраге их преследовали бродячие собаки. На подступах к стене путь им заступила тамошняя шпана, но Кит *дал им на орехи*. По темному ходу в башне Игорь с Китом взошли на крепость. Оттуда, с верхотуры они увидели всё. Увидели наши серые шлакобетонные домики, сарай, вышку, бараки, увидели по другую сторону стены дома уже преимущественно деревянные, сады, зеленые овраги, церкви, собор на холме, а еще дальше — пятиэтажки, парки, трамваи, автомобили, автобусы и улицы с прохожими и велосипедистами и кинотеатрами. Они даже увидели попов в черных рясах возле собора. А потом, когда спускались по тому ходу в башне, из темноты выплыл огонек. Они замерли с Китом, затаили дыхание. И вот на стенке показалась тень. И это была тень рыцаря! У нее, у тени той, была круглая голова с хвостом, то есть — перьями на шлеме, в руке копьё. Правда, Кит, по-моему, перечил в этом месте Игорю, считая, что это была тень просто ведьмы, и хвост — не перья на шлеме, а ее волосы, и в руке — клюка. А может, это уже был другой вариант рассказа самого Игоря. Он не раз возвращался к этому походу, расцветивая повествование все новыми подробностями. И когда всем остальным уже надоели эти рассказы, у Игоря оставался один верный и жадный слушатель.

Потом мы переехали в город, и я со своими уже друзьями сам побывал на крепости. Ни рыцаря, ни тени злобной старухи не видел, но помнил о них. И когда случилась и стычка с местными, подумал, что рассказ Игоря был все-таки достоверным, только вот не все мне довелось самому увидеть. Да, ни рыцарей, ни старух, ни попов...

Но эту лакуну в действительности с лихвой восполняли другие истории старшего брата Игоря. Он, разумеется, обгонял меня, а тем более младшего нашего брата в чтении и просмотрении всяких фильмов, как то: «Крестonosцы», «Последняя реликвия», «Вий», «Спартак», «Даки», «Подвиги Геракла», книги Яна, Сенкевича, Жюль Верна, Рафаэля Сабатини, Вальтера Скотта, Фенимора Купера и Стивенсона. И когда мы все ложились спать в нашей комнате, выходявшей окном на улицу с гремющей трамвайной линией, Игорь после обязательных просьб с перечислением всех его достоинств — ну, там, большого ума, великой силы, исключительного рыцарства, индейской ловкости, ковбойской меткости — приступал к очередному рассказу или продолжению предыдущей истории. Это были захватывающие рассказы о рыцарях, неприступных замках с томящимися в подземельях узниками и узницами, о грандиозных сражениях с треском копий, звоном мечей, лошадиным ржанием и воплями и молением о пощаде умирающих; рассказы о мертвецах и блужданиях в душных индийских лесах; рассказы о ковбоях и гуронах с апачами; рассказы о сокровищах и пиратах.

...Нет! Мне не удастся передать и толику очарования этих вечеров. Для этого надо нырнуть на полувекую глубину, погасить свет, приступить с просьбами и, наконец, услышать спокойный и, когда надо, зловеющий или совсем тихий голос старшего брата. Отлично помню, что зачастую мы с младшим тряслись от страха, покрываясь холодным потом, и конечности у нас леденели от ужаса. Истины ради надо признаться, что порой и засыпали под говор Игоря, и тогда следующий вечер был для нас потерян. Игорь вводил санкции. Правда, сам же и нарушал их, разыгрывая те же истории с пластилиновыми рыцарями в серебристых обертках от конфет, со щитами, вырезанными

из крышек от консервных банок, с копиями, на которых развевались разноцветные флажки, верхом на лошадях, задрапированных в лоскуты материи, позаимствованной в коробке со всяким рукоделием у матери; или с ковбоями в шляпах, цветастых рубашках, с кольцами на боку; с краснокожими в оперении из настоящих перьев, выданных из подушек; с пиратами на фрегатах из картона, оснащенных пушками из гильз от малокалиберной винтовки, — они начинались серой, забивались ядром из ваты — и стреляли, когда *капитан Блад* подносил спичку, — ватное ядро даже долетало до испанского галеона, и однажды этот галеон загорелся, да, вспыхнули его бумажные паруса! Рыцари тоже были не бездомные, Игорь возвел для них неприступный замок с башнями, стенами, рвом и подъемным мостом на цепочке от... ну, в общем, были такие цепочки раньше. А у ковбоев был настоящий таун с надписью «Welcome to town» на плакатике, растянутом между двумя пальцами с зеленой листвой, над посыпанной настоящим песком, набранным в детской песочнице, дорожкой, уводящей в глубь городка, к картонным домам и бару, открытому в любое время суток настезь и завлекающему всякого пестрыми бутылочками из разноцветного пластилина на полках. Неподалеку от города находилась железная дорога с рельсами из фольги и деревянными шпалами, обставленная синими скалами — кусками глыбистого стекла, собранными возле лампового завода. И по дороге этой влекся рукой Игоря картонный паровоз с трубой и вагоном, в котором за матерчатыми занавесками сидели покорители дикого Запада. Из-за скал на них и вылетали на своих мустангах индейцы с воплями и свистом. И начиналась самая горячая погоня. Мы с младшим лежали на кровати и сверху во все глаза смотрели на разворачивающийся спектакль. Как будто вечерние рассказы переводились в иной регистр или формат, точнее. Все герои вечерних историй оплотнялись. Разве это не было магией? Самая настоящая магия. И брат наш Игорь был ее творцом. Отлично помню один случай. Луки у индейцев были маленькие, но настоящие, Игорь аккуратно принимал у того или иного краснокожего воина крошечный лук, натягивал тетиву и пускал стрелу с наконечником из жести. И вот как-то стрела вонзилась в одного ковбоя на лошади. И что же? По его жилетке побежала кровь, закапала с седла, пачкая копыта... Мы ахнули. Это была кульминация магического. Наверное, Игорь упаковал в того ковбоя разведенную акварельную краску. Но как ловко он пустил стрелу! Точнее, не он, а тот индеец в живом оперении. И остальные индейцы громко заголосили: «Уууу!»

А мы выдохнули: ух ты!..

Когда санкции ослабевали, поздним вечером, перед сном мы вновь с наслаждением и трепетом внимали голосу брата, совершенно не подозревая, что становимся участниками древней традиции слушания великой устной книги всех времен и народов. Именно так и происходило все где-нибудь в отрогах Гималаев, когда рассказчик-певец увлекал своих слушателей гимнами «Ригведы» и величественными деяниями героев и богов «Махабхараты». Но первыми, наверное, начали все же жители междуречья на берегах Тигра и Евфрата. И самым древним героем устного творчества был Гильгамеш. А потом уже явились остальные: Кришна, Арджуна, Моисей, Заратуштра, первый человек на земле Пань-гу и другой первопредок Фуси с супругой-землей Нюйвой, катавшейся на черепахе, Одиссей... Вряд ли и сам Игорь это сознавал, ну, то, что он сказитель, рапсо́д, и то, что у него была предшественница в нашем роду — сказочница баба Марья из деревни Горбуны на озере Каспля, что раскинулось на пути из варяг в греки. Об этом я сам узнал много позже, когда баба Марья давно уже не было в живых.

Да, кстати, о черепахе. В доме то и дело появлялись эти персонажи детского мира: черепаха, хомяк, кролик, щенок, попугай. И однажды я обнаружил черепаху, уже проползшей под вывеской тауна; загребая своими когтистыми лапами песок, она направлялась явно к бару. Это уже был сюрреализм высшей пробы. А точнее, некая — китайская, наверное, — ипостась Кинг-Конга.

А бумажная любимая книга детства по случайному совпадению называется «Терновая крепость», ее сочинил венгерский писатель Иштван Фекете. Подарила ее мне на день рождения тетя Люба. Эта книга мой первый запой. В ней рассказывается про двух друзей, отправившихся на лето к дяде на озеро, исполненное птиц, рыб и зверей в камышах и тростниках и, разумеется, тайн в развалинах на острове.

Но мне кажется, что и эту книгу читал вслух мой брат.

Игорь не стал профессиональным рассказчиком или, например, режиссером, закончил пединститут, преподавал историю в школе, а, побывав на море, в Крыму, однажды вернулся туда навсегда, чтобы, видимо, внимать вечной одиссее морских волн и ловить древние ветры, предаваясь буддистской медитации и забыв всех нас. И я не знаю, какие новые истории восходили и восходят все это время в его сознании и кому он их рассказывает. Но испытываю всегда восхищение, вспоминая те дни и вечера Устной книги, и говорю в себе: спасибо, брат.

Дмитрий Захаров, прозаик (г. Москва)

Порошок «Не уходи»

Мне пять лет, и я еще только учусь читать. Медленно, бесконечно медленно пережевываю слоги, вода пальцем по странице — пробуя слова еще и на ощупь. Любимую книжку про волшебника Изумрудного города родители проходили со мной (от карты сказочной страны на первом форзаце до карты на последнем) уже дважды. Но мне нужно больше, а времени ждать милости от природы нет. В видавшем виды серо-коричневом издании мне уже принадлежат картинки Леонида Владимирского — я могу каждую из них нарисовать по памяти, и плевать на результат. Скоро и эти издевательские буквы тоже станут моими. «Я тебя съем, и ты будешь у меня в животе», — как говорил Медвежонок в мультфильме, который я только что смотрел.

Вот именно.

Моим планам может помешать только чудо. Только катастрофа. Только катастрофическое чудо, которое, естественно, и происходит. Вернувшаяся с работы мама приносит нечто невиданное.

Мне говорили, что у «Волшебника» есть продолжение, и я его уже не раз просил. Но в книжных маленького закрытого города, где я родился, такого никогда не бывает, а библиотечный экземпляр расписан на много месяцев вперед.

И все же мама достала продолжение. Синий фолиант, с которого недобро смотрят два деревянных солдата, вооруженных сучковатыми дубинами, и хмурый столяр Урфин Джюс — «владыка, сапоги которого попирают Вселенную».

Я проваливаюсь в эту книгу, как Алиса (про которую я прочитаю позже) в кроличью нору, раз и навсегда. И в этой норе я могу отыскать все. Историю про мегаломана, которому судьба бросила в руки целую чудесную страну. Повесть про демиурга и мытарства вылепленных (то есть выструганных) им тварей. Эпопею об амбициях, предательстве, диктатуре армии и тайной полиции, революции и «перековке» прежнего мира.

Я рисую и раскрашиваю деревянных солдат. Стараюсь четко выговаривать «Гуамоколатокинт» (сварливый филин не любит, когда коверкают его имя). Пробую набивать опилками лежащую у деда в коридоре медвежью шкуру — чтобы у меня был свой Топотун.

Ни один из следующих томов Александра Волкова не произведет в моей жизни

такого объемного взрыва, как этот, не станет облаком оживляющего все вокруг волшебного порошка. Вторую часть истории про Урфина — «Огненного бога марранов» — я прочитаю только через несколько лет (до этого возможности взять хоть где-нибудь книгу не будет).

«Деревянные солдаты» останутся вершиной серии. Да что там серии...

Уже в шесть лет я попробую написать к ним (иллюстрированное) продолжение. Это будет моей первой попыткой сочинить свои собственные слова, составленные в предложения на бумаге. И с того момента, как это произойдет, все неостановимо покатится — прямо сюда, вот к этому самому воспоминанию.

Раздумывая над ним, я внезапно сообразил, что, быть может, «Урфин Джюс» направляет меня куда сильнее, чем я привык думать (а точнее, не думать). Недаром медвежья морда выглядывает едва ли не из каждого моего текста. А сюжет об оживленных игрушках — кровь и плоть романа «Кластер».

Я начинаю с удивлением оглядываться по сторонам: гуамоко, старина, скажешь, и ты тут? Гуамоколатокинт?!

Фигурка филина скептически смотрит в ответ из-под монитора.

Александр Иличевский, прозаик, поэт (г.Иерусалим, Израиль)

Три книги детства

1. Константин Сергиенко. «Кеес Адмирал Тюльпанов».

Когда я впервые увидел картины Брейгеля, они поразили прежде всего узнаванием: это были иллюстрации к «Адмиралу Тюльпанов», к книге, в которую я однажды в детстве провалился, как Алиса в кроличью нору. Лоскутные одеяла польдеров, дамбы, мельницы, каналы этой плоской страны, на которых зимой звенят коньки; дерзкий Кеес, сакральный тюльпан, единственный из цветов, в который можно и увлекательно глубоко заглянуть, осада Лейдена, восстание гезов, горбун Караколь с накладным горбом (потом мне казалось, что все горбуны прячут в горбах некие сокровища, тайну) — все это навсегда со мной, никакая реальность не сравнится с этой повестью по достоверности. Месяц назад я был поражен, узнав, что автор у этой книги действительно существовал и есть в Москве люди, которые его помнят. Оказывается, им написаны еще две повести. Расспрошу букинистов.

2. Ян Ларри. «Необыкновенные приключения Карики и Вали».

Хорошие книги всегда умножают воображение, а есть такие, что усиливают еще и зрение, делая его инструментом воображения. Благодаря Карику и Вале, спасшимся от шершня, стрекозы, муравьиного льва, паука-серебрянки и чудовищной медведки, я научился впоследствии никогда не забывать о том, что человеческая цивилизация не одинока во Вселенной. Мысль о том, что еще сорок миллионов лет назад пчелы, разговаривающие друг с другом при помощи запахов и танцев (Карл фон Фриш, Нобелевская премия, 1973 год), достигли воплощения коммунистической идеи, и что пользы от этого — всего-то бочки с медом и апитерапия, что муравьи, владея арифметикой, в захватнических войнах изощренней любых нацистов, — всегда отрезвляет от социальных фантазий. Замечал ли кто-нибудь, что «ламборджини», буравящая, как почву плотный от скорости воздух, своей формой напоминает медведку, с ее приземистостью, мощностью сведенных передних лап? С другой же стороны, есть совсем немного естественных способов визионерства, и пристальное внимание к «микром миру» — один из них. Мир солнечных прозрачных пчел и

хтоническое царство термитов — отличная натура для широкого спектра литературных ландшафтов — от фантастов до Юнгера.

3. Юрий Олеша. «Зависть».

Единственный роман, который на самом деле не роман и тем более не поэма, а стихотворение. Он столь же легко разбирается на строфы, сколь и невозможно выявить рецепт, согласно которому он из них составлен. «Зависть» написана солнечными зайчиками по теплым камням и стеклам окон старой и новой жизни. В романе прорва радостной телесности и пения, физического ощущения посеребренных капель на бархатистых стеблях вынутых из кувшина фиалок. И то, о чем он написан, — никогда не ясно, что только подстегивает к перечитыванию; так всегда происходит с хорошим стихотворением.

Михаил Кураев, прозаик (г. Санкт-Петербург)

Книга. Огурец. Гильгамеш

Умные люди говорят: то, что нельзя исправить, надо забыть. Да вот почему-то не получается. Впрочем, сам я этого запомнить и не смог бы, все-таки было человеку четыре года, не дала забыть мама. Ей показалась история смешной, даже умильной. Но это, надо думать, если со стороны посмотреть.

А со стороны это выглядело так.

Представьте себе улицу Социалистическую, где-то неподалеку от дома № 128. На улице — 1943 год. Город Череповец. Лето. Вторая половина.

В двухэтажном деревянном доме № 128 на первом этаже в комнате метров пятнадцать, а может быть, и четырнадцать, мамина сестра дала приют чудом вырвавшимся из Ленинграда мне, моему старшему брату и нашей маме. Кроме нас, троих эвакуированных, на момент нашего нежданного вторжения зимой сорок второго года в этой комнате обитало ровно шесть человек: сама тетя Люся, ее муж дядя Коля, две дочери и два сына. Старшего Юру вскоре призвали в армию, стало чуть просторней. Олег, пятиклассник, младший сын тети Люси спал на сдвинутых стульях или на столе. Что делали тетя Люся и дядя Коля в Череповце? Да в ссылке жили. Хотя дядю Колю как участника Кронштадтского мятежа реабилитировали, но вернуться в Ленинград не позволили. Вот такое везенье! Ни до какого Барнаула, куда нам нужно было прибыть по эвакуационному предписанию, мы бы, конечно, не доехали, как и многие из нашего эшелона. Вот мама и решила сойти в Череповец.

При чем здесь книги? Да здесь в Череповце все и началось. То, что помню сам, так это журнал, как потом выяснилось — «Новый мир» времен советско-финской войны. Там даже рисованные картинки сопровождали в конце журнала остроумные стихи про Васю Тёркина, начавшего свою военную биографию как раз на финской войне. Читать не умел, но стихи запомнил: «Вид заманчивый трамплина привлекает белофинна...» Вася Тёркин на снежном склоне замаскировался под трамплин, вот белофинн и соблазнился не просто съехать с горки, а еще и подпрыгнуть. И только он на этот «трамплин» наехал, как Вася Тёркин вскочил и взял его в плен. Правда, здорово?! Такое не забудешь. Все остальное в этом журнале мама мне не читала. Читали то, что присылала сестра отца, оставшаяся в Ленинграде.

В Ленинграде во время блокады выходили детские книги!

Можно подумать, что это были такие демонстрационные акции вроде футбольного матча в осажденном городе. Это не так, если вспомнить, что в блокадном Ленинграде

защищали диссертации, проводили научные конференции, к примеру, в связи с пятисотлетним юбилеем Алишера Навои. В декабре сорок первого в лекционном зале Эрмитажа на торжественном заседании были прочитаны доклад «Мотивы древних восточных мифов в произведениях Навои» и новые переводы из Навои. Пораженного дистрофией переводчика в зал внесли на руках. Начавшийся артобстрел не прервал заседания.

Летом сорок третьего в Череповце была получена бандероль из Ленинграда с содой для мамы и великолепной раскладной книгой «Терем-теремок».

А дальше уже со слов мамы.

«Смотрю, во двор с улицы идет Михаил. Сияет. В руках — огурец. Большой, с ржавыми боками, семенник перезревший... Мишенька, откуда это у тебя? Гордо объявляет: Выменял! Спрашиваю: На что же ты это чудо выменял? Радостно сообщает: На книгу!»

«Терем-теремок» в день его появления на Социалистической, 128 был мною выменян на большой огурец!

Натуральный обмен был стихией военного времени. Мама ходила в дальние деревни, чтобы что-то выменять на картошку, лук, репу, бутылку молока... Ближние деревни были избалованы «выковырянными».

Мое желание поддержать семью продовольствием никто не осудил, но коммерческие способности были высмеяны. Огурец оказался практически несъедобным. Да, не дал Бог счастья стать коммерсантом...

Зато следующую книгу, опять же присланную из Ленинграда в Череповец, и не раз прочитанную мне мамой, я не только выучил чуть не всю наизусть, но и хранил потом, как верующие хранят Библию. В блокированном городе не был убит дух интеллигентности. А это значит — люди не выживали, а жили. А жить — значит, думать о тех, кому еще предстоит стать ленинградцами. Книга Самуила Яковлевича Маршака «Сказки. Песни. Загадки» — художественная хрестоматия для детей, детей войны. Открывалась она маленькой поэмой «Почта военная». Пишу, как запомнил:

Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне?
Это он, это он,
Ленинградский почтальон!
С ним мы встретились по-братски,
И узнал я с первых слов,
Что земляк мой ленинградский
Снова весел и здоров!
Уцелел со всем семейством,
Голод нынче позади,
И медаль с Адмиралтейством
На его горит груди...

У меня была мечта — собственно, почему была? — я мечтаю, чтобы первоклашкам в нашем многострадальном городе 1 сентября вручали именно эту книгу, переизданную буква в букву, в зеленой, как солдатская гимнастерка, обложке с чудесными картинками Конашевича, Пахомова, Лебедева. И нынче власти города готовы были осуществить эту идею, но, увы, юристы, опекающие наследство Маршака, зарубили затею на корню, что-то там посчитали, умножили, разделили, накричали на меня и наложили запрет.

Только со временем я оценил одну подробность в книге, вышедшей в Ленинграде во время блокады. Треть стихов о войне, все еще идущей, но ни одного упоминания ковавшего все победы генералиссимуса.

Это потом, в первом издании «Сына полка» в самом конце любимой с детства повести во сне Вани Солнцева появится Сталин, «осененный знаменами четырех

победоносных войн». Впрочем, генералиссимусу Суворову стишок и рисунок посвящены: «Бьёмся мы здорово, рубим отчаянно, Внуки Суворова, дети Чапаева!» А стихи о войне прекрасны! Я их читал по памяти год назад в Польше на встрече со школьниками. Полный успех. «Резвится молодой мороз —/ Морозец пятиградусный./ А на снегу, повесив нос./ Стоит фашист безрадостный./ Трещат сороки. Снег пушист/ В лесу и на прогалинке./ — О чём задумался, фашист? —/ Спросил морозец маленький». А еще «Баллада о пятнадцати»: «Конечно, Пятнадцать — Число небольшое,/ Но если пятнадцать ребят умеют сражаться,/ Как эти герои,/ Врагу они путь преградят». И про смоленскую школу: «Мне рассказывал смоленский/ Паренёк:/ — В нашей школе деревенской/ Шёл урок./ Проходили мы частицы/ "Не" и "ни". А в селе стояли фрицы/ В эти дни». Кроме прекрасных, на мой вкус, стихов о войне была поэма и о пожарнике Кузьме, «Теремок», «О неизвестном герое», «Дрался Гришка с Мишкой»... «Мельник, мальчик и осёл», «Собирались лодыри/ На урок,/ А попали лодыри/ На каток». А еще английские, шотландские сказки и баллады... Остановлюсь! И Самуилу Яковлевичу, и всем, кто эту книгу дал нам, когда и хлеба не хватало, низкий поклон.

В сорок четвертом году отец приехал из прифронтовой Кандалакши в Череповец по временной ветке через Обозерскую, огибавшей занятый немцами Петрозаводск, и увез нас с собой.

Мы поселились в какой-то брошенной избушке на узком пространстве между забором завода № 310 и лесобиржей на берегу Кандалакшского залива. Мебели не помню, но «сервиз» из хорошо обстуканных, чтобы не порезаться, консервных банок помню. И чайный, и столовый. К кухне примыкала узкая холодная комнатка, чулан с оконцем. Там стоял большущий фанерный ящик, пустой. Пустая комнатка, пустой ящик. Это была моя единственная игрушка, если не считать плюшевого Мишку, вывезенного мамой из блокадного города вместе с нами. В хорошем ящике, даже пустом, можно без скуки провести час-другой, пока отец на работе, мама в магазинном промысле, а старший брат, важный, как академик, в первом классе. Если бы умел к тому времени писать, я бы мог написать инструкцию, как превратить ящик в грозный блиндаж, надежное бомбоубежище, танк, паровоз и даже бомбардировщик, если ваши руки так же похожи на крылья, как и мои, а вместо сердца, естественно, пламенный мотор. И вдруг я нашел книгу. Справочник «Hutte», это размером с полбуханки хлеба в зеленой обложке подручная энциклопедия инженера с бесчисленными логарифмическими таблицами, разделами по сопротивлению материалов, пособие по расчету конструкций и все в таком духе. Чудесная книга! Читать ее нужно только в фанерном ящике, и когда никого нет дома. Дело интимное. Чтение состояло из перелистывания страниц в сопровождении какой-то моей тарабарщины. Никаких толковых сюжетов за цифрами, формулами и логарифмами не просматривалось. Книгу отец вскоре унес, на работе была, надо думать, нужней. Но тут же появилась новая книга, не совсем новая, но для меня новая: «История Древнего Востока» проф. Струве, как было обозначено на обложке цвета, надо думать, песков египетской пустыни. Книга вышла в тридцать девятом году, так что мы в каком-то смысле даже ровесники. Нет, это вам не логарифмическая заумь, где цифр больше, чем букв. Здесь были даже картинки. И пирамиды, и долины, и разные фигуры плоских египтян, словно они маршируют, выйдя из-под утюга. С этой публикой уже можно было разговаривать! «Куда идёте, беспорочные?» И через десяток страниц можно было узнать, куда они шли, выпростав перед собой руки с цветком или жезлом. Книга толстая, картинок много. Но вдруг я напарываюсь на стихи, недлинным столбиком разрывающие сплошной текст страницы. Я смотрю на первую строчку и понимаю, что там написано: «Скажи мне, друг мой,/ Скажи мне закон земли, который ты знаешь...» Я даже не понял — я читаю! Читаю! Наверное, такое же чувство испытывает птенец, вывалившийся из гнезда, но не шмякнувшийся о землю, а раскинувшийся от страха

крылышки... и полетевший! Я — читаю! Да. Это был первый самостоятельный вылет, без инструктора и парашюта! И куда я залетел? В эпос о Гильгамеше. Для начала неплохо. Лечу дальше: «Не скажу я тебе, друг мой, не скажу!/ Что же? "Пусть же сяду я и заплачу!/ Скажи мне закон земли, который ты знаешь..."». Запомнил от удивления сразу и на всю жизнь, не только это, но и дальше. Избыток нового знания не умещался во мне, распирал, рвался наружу. От нетерпения я вышел встречать своего брата-академика, возвращавшегося из школы № 1, служившей с сорок первого года до лета сорок четвертого военным госпиталем. Брат, переполненный преумноженными в этот день знаниями и важностью своего старшинства, не придал значения моему появлению на тропинке у заводского забора. Но я встал перед ним, преградив дорогу, встал, как настоящий египтянин, только что в пальто и зимней шапке, выкинул вперед руку с вывернутой вверх ладонью, как у нас в Египте полагается, и обратился к преуспевающему в науках и самоуважении брату: «Скажи мне, друг мой, скажи мне закон земли, который ты знаешь!..» Похоже, что классная руководительница первоклашек учительница Жарова, средоточие всей земной мудрости, еще не посвятила своих подопечных в «закон земли», который она, конечно, знала. Брат не промах, когда он не знает ответа, он умеет опрокинуть собеседника встречным вопросом: «А ты че, сам-то знаешь? Вот и скажи». Но ответ у меня был готов: «Не скажу я тебе, друг мой, не скажу я закон земли, который я знаю, а то сядешь ты и заплачешь...» «Где это ты наблатыкался?» — строго поинтересовался брат. «Академик Струве», — скромно признался я, повысив своего нового знакомого из «проф.», указанного на обложке, до академика, наверное, чтобы подравнять к старшему брату.

Проф. Струве стал близким мне человеком, скрашивавшим мой вынужденный досуг. Я начал читать подписи под картинками, а потом и синий штамп на шмуцтителе книги: «Парткабинет Кандалакшского Горкома ВКП(б)».

Но вот во всю оставшуюся жизнь я так и не удосужился спросить у отца, зачем это ему осенью сорок четвертого года, когда готовился Десятый удар, освободивший Заполярье, последний Удар, из выбивших немецко-фашистских захватчиков с советской земли, зачем ему в пору напряжения и горячки на транспорте, за который он отвечал, понадобилась «История Древнего Востока».

А цинично, по-торгашески, мелкобуржуазно преданный «Терем-теремок», непрочитанным уплывший в чужие руки, ты уж меня прости неразумного, но бывшее, как сказано в одной мудрой книге, даже богам не дано сделать не бывшим.

Владимир Медведев, прозаик, публицист (г.Москва)

Зов с Востока

Мне было четыре года, когда произошли два события. Во-первых, мои родители с озера Кенон в Забайкалье, где они работали на радиостанции и где я родился, переехали в Таджикистан, на радиостанцию в городе Сталинабаде, ныне Душанбе. Во-вторых, мама начала учить меня читать. Оба эти внешние события сформировали меня таким, каков я есть, и проложили русло, по которому шла и по сей день идет моя жизнь.

При первой встрече с Таджикистаном на меня обрушился мощный сенсорный шквал. Двухнедельное путешествие на поезде — от Читы до Москвы, а затем от Москвы до Сталинабада — отчасти причиною к смене впечатлений, но здесь, в конечном пункте, все было абсолютно новым и непривычным. Воздух, особое тепло, запахи, вкусы, звуки, ощущения...

Помню первое утро на новом месте. В окно бьет непривычно яркое солнце, из радиоточки в соседней комнате доносятся странные, неблагозвучные ритмы, мало похожие на музыку, а визгливая певица выводит на непонятном языке совершенно несуразную, по тогдашнему моему понятию, мелодию (в детстве мы пренебрежительно называли таджикские народные песни «тум-балаки-тум», лишь позже я понял, оценил и полюбил их).

А затем что ни день, то новые открытия: непередаваемый вкус винограда; журчание воды в арыке, пересекающем двор двухэтажного дома для спецов, в котором мы жили; незнакомая речь и крики бродячих точильщиков: «Ножи, ножницы то-о-о-о-чи-и-м!» и бродячих старьевщиков: «Стары вещи бере-е-е-м!»; теплая пыль, в которую ноги погружаются по щиколотку; бронзовые жуки, летающие в летних сумерках... Перечислять можно до бесконечности.

По вечерам открывался совсем иной мир. Наша семья собиралась вчетвером вокруг стола, родители читали нам с сестрой вслух. Вначале, конечно, сказки. Одну другой страшнее. Старик отрубил медведю ногу и принес ее домой. Медведь соорудил себе липовую ногу, а когда настала ночь, поковылял к обидчику, приговаривая: «Скирли-скирли, липовая нога... Старик варит мое мясо, старуха прядет мою шерсть». Чем закончилось, не помню. Не дослушал, сбежал... Очень уж жуткой была медвежья приговорка. Или еще: солдат просится к мужику на ночлег. И вот лежат они ночью на полатах, солдат будит мужика и спрашивает: «А знаешь, кто я?..» Он еще не закончил, но я уже заранее чувствую, что дело идет к чему-то нехорошему, встаю и начинаю медленно продвигаться к двери. Родители понимающе улыбаются — не в первый раз. Мне не до смеха. Признание солдата: «Я ведь медведь» — настигает меня на пороге. Жуть! Конца сказки не помню. Запоминается самое страшное, а ужасное перевоплощение — это кульминация, предел, страшнее уже быть не может...

Вслед за сказками пошла русская классика. Мама читала нам «Руслана и Людмилу», «Сказку о золотом петушке», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Конька-Горбунка»... Отец — «Генерала Топтыгина», «Мороз, Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо»... Как теперь понимаю, родители исподволь воспитывали у нас чувство национальной идентичности. Не сознавая того, я всем существом впитывал из чистейших образцов русский язык, его дух, его богатство и своеобразие.

Примечательно, что сам язык при восприятии на слух как бы исчезал, растворялся, поскольку напрямую конвертировался в образы, возникавшие в моем воображении. Ощутимым он сделался, когда я начал учиться читать. Слова, попадая на книжную страницу, будто сгущались, становились плотными, приобретали дополнительные смыслы, и каждое из них вызывало особое, неповторимое, но неуловимое чувство, которое так же невозможно описать, как запах или вкус. В словах, казалось, проявлялись невидимые прежде измерения.

Как ни странно, совсем не помню первые книги, которые прочитал самостоятельно, за исключением «Что я видел» Бориса Житкова. Зато в память врезалось общее впечатление словесного великолепия, которое вызывали диктанты и упражнения по русскому языку в начальных классах. Что может быть неприятнее диктанта и скучнее домашнего задания! Но унылые мертвые страницы учебников нередко освещали живым светом короткие отрывки и отдельные фразы из книг Толстого, Лермонтова, Тургенева, Некрасова, Пушкина, Чехова... Сверкающие голографические осколки великорусского языка. А среднерусские пейзажи на обложках «Родной речи» ежедневно напоминали о далекой России, которая была для меня, скорее, идеальным образом, архетипом, нежели реально существующей землей, а оттого особенно притягательной.

В материальной же действительности Сталинабад со всех сторон окружали горные вершины; по городу проходили порой караваны верблюдов (последний я видел году в 60-м); на базаре можно было встретить дервиша с чашей для подаяния,

изготовленной из половинки кокоса; по мостовой, выложенной из булыжника, катили «файтуны» — конные пролетки, стоянка которых располагалась напротив универсама «Люкс» неподалеку от нашего дома; по улицам, хоть и редко, еще проходили, как черные безликие изваяния с холста Джорджо де Кирико, женщины в парандже и чачване — сетке из конского волоса, закрывающей лицо; еще можно было наблюдать буколическую картинку — деревенского старика, который присел по нужде на краю тротуара, накрывшись с головой полами халата... Словом, тысяча и одна ночь.

И потому, когда мой друг Рафик Матаев, который жил в глинобитном еврейском квартале рядом с нашим домом, рассказал, что побывал у разбойников, которые обитают в пещере с сокровищами, на берегу Дюшанбинки, я ему безоговорочно поверил. Он и меня обещал к ним сводить. Было не очень понятно, с какой стати разбойники привечают маленького мальчишку, но в том, что они живут совсем рядом, сомнений не имелось. Правда, когда мы пришли на речку, Рафик пещеру так и не нашел.

Виртуальная Россия и восточная сказка, окружавшая меня в реальности, существовали каждая сама не себе, никак не пересекаясь. Вместе с русской литературой, правда, с опозданием более чем на сто лет, я пережил увлечение романтизмом — Пушкиным, Гоголем, балладами в переводах Жуковского, затем Гофманом, позже настала очередь Вальтера Скотта, Майна Рида, Виктора Гюго и далее со всеми остановками. Однако западная литература не создала нового пространства, а лишь расширила область русского. Одновременно мои товарищи — таджики, узбеки, бухарские евреи — помогали лучше понять своеобразие местной жизни. Обе изолированные области постепенно расширялись.

Объединил их уже позже, несколько лет спустя, Редьярд Киплинг. Его стихи, баллады, «Простые рассказы с гор», роман «Ким» перетряхнули разрозненные части моей карты мира и уложили их в стройную картину. Есенинские березки перемешались с низкорослыми корявыми деревцами из знаменитой «березовой рощи» на горном озере Искандер-куль. Киплинг открыл мне и объяснил прежде скрытую, неосознаваемую мою любовь к Таджикистану. Его книги стали чем-то вроде азбуки, учившей сознательному усвоению чужой культуры.

Но знал ли сам Киплинг реальную, а не ту декоративную, почти оперную страну, которую живописал в своих сочинениях? Знакомиться с подлинной Индией по его книгам так же нелепо, как изучать животный мир тропического леса по «Книге джунглей». Секрет обаяния Киплинга в том, что он — писатель для юношества, для подростков, которых учит оставаться верными своей культуре, приобщаясь при этом к чужой. Вряд ли найдется другой литератор, который был бы так искренне влюблен в Азию и так ярко и заразительно выразил бы свое чувство, будучи британцем до мозга костей.

Не представляю, каким бы я стал, если б судьба в детстве забросила меня в иные края. Полюбил бы я Киплинга, живя в Прибалтике или Молдавии? Но мне повезло, и понимаю его с полуслова, пусть даже в несовершенном переводе:

В мрачном Лондоне узнал я поговорку моряков:
«Кто услышал зов с Востока, вечно помнит этот зов».

Именно об этом рассказывает Редьярд Киплинг в каждой написанной им книге, — о Зове с Востока. Я полностью согласен с кредо, которое он формулирует в рассказе «Саис мисс Йол», когда говорит от имени рассказчика, то есть от себя лично: погружение в жизнь местных народов — самое увлекательное изо всех занятий на свете, не исключая и любви.

Насчет любви он, возможно, погорячился, а все остальное абсолютно верно.

*Ольга Погодина-Кузмина, писатель, сценарист
(г. Санкт-Петербург)*

Другое измерение

В моей семье любили чтение, выписывали журналы и газеты, охотились за новинками. Мне повезло и в том, что моя родная тетя Галя работала заведующей районной библиотекой. Так что круг моего чтения был весьма прогрессивным для советского подростка 70-80 годов. Первой книгой, которую я прочла самостоятельно, без помощи взрослых, стала «Алиса в стране чудес». Помню, это была довольно большая красивая книжка, тетя принесла ее из библиотеки, и через две недели ее нужно было отдать обратно. Меня заинтересовали загадочные иллюстрации — кролик в цилиндре, птица Дронг, безумный Шляпник и странное чаепитие. Я приставала к взрослым с просьбой прочесть, рассказать мне, в чем же там дело. А мне ответили — ты же сама уже умеешь читать, вот и прочти. Для ребенка 6-7 лет самостоятельное чтение — труд, механическое усилие. «А-ли-са от-вори-ла двер-цу: там был вход в у-зень-кий коридор, чуть по-шире крыси-ного лаза. Она встала на колен-ки, заглянула в отверстие — и ахнула: коридор выходил в такой чудесный сад, каких вы, может быть, и не видывали». Я отчетливо помню, как взялась за книгу, водя линейкой по строчкам — и вдруг произошло чудо. Буквы начали складываться в слоги, слоги в слова, слова в предложения. А предложения начали оживать, обретать смысл и красоту. Английский пастор и философ Льюис Кэррол запустил в моей голове тот механизм удовольствия, которое доставляет нам работа воображения — и с этого момента я стала запойным читателем. Спасибо тете и библиотеке — ко мне попадали все новинки советского книгоиздательства. Эпопея Волкова «Волшебник изумрудного города», «Сказки дядюшки Римуса» Чандлера, история Муми-троллей Туве Янсен и «Пикник на обочине» Стругацких. Конечно, были у меня и собственные книги — я любила перечитывать прекрасно изданный сборник сказок Гауфа, классическое издание «Тысячи и одной ночи», и до сих пор заглядываю в желтый двухтомник Андерсена, подаренный бабушкой и бабушкой. Есть важная, мало исследованная тема для социологов, психологов и писателей, которые отчасти совмещают функции первых и вторых. Советский человек, формально живший за железным занавесом, на самом деле был глубоко погружен в контекст мировой культуры именно через книги. Вспомним замечательные переводы лучших американских, европейских, японских авторов; журналы «Дружба народов» и «Иностранная литература»; книжную серию «Сказки народов мира». В них публиковались с любовью подобранные и переведенные истории, раскрывающие характер, быт, образ жизни людей в других странах. Вспомним, какое внимание уделялось изданию национальных эпосов народов, населявших нашу огромную страну. «Нарты», «Калевала», «Шахнаме», античный цикл об аргонавтах... Благодаря книгам и советской школе с углубленным изучением английского языка я и сегодня в общении с европейцами нередко чувствую себя большим европейцем, чем они сами. Общаясь с коллегами в писательских резиденциях, понимаешь, что русский человек в среднем гораздо лучше образован, шире смотрит на многие вещи и куда лучше знаком с культурой других стран, чем это принято, например, в Западной Европе. Конечно, времена меняются. Увидев сегодняшнее книжное разнообразие, включая издания для подростков, человек из советского времени решил бы, что попал в другое измерение. Собственно, так и есть. Нынешние детские книги великолепно оформлены визуально, по страницам их бродят чуть ли не живые динозавры, средневековые рыцари и космические пришельцы. Но мне все же кажется, что «подпирая» текст эффектными картинками словно костылями, мы теряем основу

самой магии чтения. Эту важнейшую способность мозга конструировать воображаемую реальность из простых черных букв на белой странице. Литература, построенная на тысячелетнем фундаменте человеческой речи — уникальный феномен, проявление духа через усилие разума. Вначале было слово. Слово породило мысль. А мысль породила книгу.

*Николай Подосокорский, литературовед, медиаэксперт,
блогер (г. Великий Новгород)*

Юность Тэмуджина

В моем детстве, выпавшем на вторую половину восьмидесятых — девяностые годы и проведенном в небольшом рабочем поселке Новгородской области, я был ограничен в выборе книг для чтения. Сравнительно небольшая родительская библиотека состояла в значительной степени из случайно собранных книг и тех собраний сочинений, которые можно было достать по подписке в период дефицита, но кое-что интересное для меня в ней все же порой находилось. В частности, мне нравились советские исторические романы об отношениях Орды и Руси, особенно трилогия Василия Яна «Нашествие монголов», из которой ребенком я, правда, прочел лишь две последних части — «Батый» и «К последнему морю» — зато по многу раз. Первой же части (про Чингисхана), у нас не было, и так получилось, что ее мне заменил роман Исая Калашникова «Жестокий век».

Глядя на увесистый красный кирпич (из тиража 1991 года в 200 тысяч экземпляров, наверное, можно было бы сложить большой дом) с не самым располагающим названием и лишенный каких бы то ни было иллюстраций, я сперва не ожидал, что он может стать подходящей мне пищей для сердца и ума. Но стоило его однажды открыть и заглянуть в эту непривлекательную внешне книгу, как я уже не смог от нее оторваться и прочел более семисот страниц за несколько дней. Помню ощущение необычайной легкости, свободы и какого-то поистине степного простора от чтения про юность и становление Тэмуджина, больше известного как Чингисхан, создатель одного из крупнейших государств в истории человечества (на пике своего могущества Монгольская империя, как известно, уступала по территории лишь Британской).

Я бы не назвал Калашникова крупным писателем и тем более классиком, хотя в родной Бурятии его вроде бы ценят весьма высоко, но лично для меня эта книга стала одним из ключевых романов воспитания — тем, чем для следующего поколения, возможно, стал «Гарри Поттер» Джоан Роулинг. Никакого колдовства и мистики в мире Калашникова, конечно, не было, но зато присутствовала особая магия человеческих отношений (дружба, перерастающая в непримиримую вражду, и, наоборот, вражда, оборачивающаяся в итоге крепкой дружбой), раскрывалось величие личности, преодолевающей самые трудные и невыносимые жизненные обстоятельства и способной объединить вокруг себя целые народы. Это сильно действовало на подростковое воображение.

Уже во взрослом возрасте я перечитал этот роман еще раз и с удивлением обнаружил почти тот же самый эффект, что и в детстве. Книга оказалась столь же близкой и вновь читалась на одном дыхании, но рассказать, в чем именно заключается ее прелесть, не так уж легко. Сюжет «Жестокое века» не то чтобы очень уж оригинален, диалоги незамысловаты, да и написано это через несколько десятилетий после гораздо более известного романа того же Яна. А вместе с тем к Яну я больше

не возвращался, зато книга Калашникова и в детстве, и в юности, и позднее неизменно затрагивала какие-то потаенные струны моей души и упорно не давала себя забыть. Кстати, отчасти, возможно, благодаря ей я в студенчестве увлекся трудами Льва Николаевича Гумилева о Великой степи и азиатских кочевниках «с раскосыми и жадными очами». Среди историков довольно распространено презрительное отношение к его сочинениям, но для меня они стали своего рода продолжением исторической беллетристики Яна и Калашникова, точно так же показывающим пресловутых «татаро-монголов» с человеческой и даже симпатичной стороны.

Сейчас, когда моя домашняя библиотека насчитывает около двух с половиной тысяч томов (не считая терабайта электронных изданий), «Жестокий век» — одна из нескольких книг, которые я взял из родительского дома и сохранил как память о детстве.

Ольга Славникова, прозаик (г. Москва)

Гоголем по голове

Часто литературные воспоминания о детстве напоминают игру сорокалетней тетеньки-травести, изображающей на сцене ТЮЗа резвого пацана. Здесь я постараюсь быть предельно достоверной и честной. Речь пойдет о бабушкином книжном шкафу.

Он был, по моим тогдашним представлениям, огромен и напоминал сказочный дворец. Резные колонны, медальоны на дверцах, которые вернее было бы назвать воротами, могучий гребень на крыше, из которого, из самой гуши резных курчавин, на меня смотрела щекастая голова арапа — дразнила высунутым, покрытым пылью, языком.

Этот шкаф был целый мир. Внизу, за изукрашенными створами, имелся и мой угол — ряд книжек в полметра длиной. Там стояли приличествующие возрасту «Волшебник Изумрудного города», «Золотой ключик», «Русские народные сказки» с иллюстрациями в цветах веселенького ситчика. Остальное пространство глубоченных полок было занято неинтересным: много всего о вкусной и здоровой пище, стопы бархатных и кожаных фотоальбомов, связки журналов. А вот на верхних этажах, за играющими радугой фигурными стеклами, таились сокровища. Брать их не то чтобы запрещалось — все запреты моего детства были подразумеваемыми, — но негласно не одобрялось. Застекленные створы были заперты, что служило сигналом. Однако же ключ всегда свисал из скважины, будто папироса с губы. Это, собственно, решило дело.

Добывала я взрослые книги так. Взяла специальную высокую табуретку, на которой моя крошечная бабушка расчесывала свои огромные косы (волны седины доставали до пола, а тапочки не доставали). Затем взяла мухобойку с длинной ручкой. С первого раза расшатать тугие кирпичи не получилось. Потом они стали вываливаться блоками и падать на пол с грохотом и плеском. Пришлось принести подушки, на них долговязая табуретка гарцевала. В результате синенький, небольшой, но весомый томик Гоголя рассек мне углом переплета кожу на лбу.

Именно в этом томе оказалось главное, что я прочла во время тех упоительных книжных каникул между первым и вторым классом. Уже знакомая с «Вечерами на хуторе близ Диканьки», я сперва подумала, что «Мертвые души» тоже про покойников. Как передать свое тогдашнее восприятие поэмы? Это была текучая алхимия, слово на моих глазах превращало одно в другое: нарядных дам — в сахар, фрачных кавалеров — в мух. Тогда впервые возникло ощущение, что я откуда-то знаю, как это делается.

Ну и, конечно, профессор Челленджер у Конан-Дойля оказался куда круче Карабаса-Барабаса, а «Собор Парижской Богоматери» про красавицу и чудовище совершенно затмил «Аленький цветочек».

Помимо толщи текста, в томах обнаружались странные закладки. Мягкие бумаги, как бы тряпочные, как бы слегка промасленные, вертикальными кудрявыми узорами сходные со шкафом, в котором они таились. На них на всех было написано: «Государственный казначейский билет. Пять рублей». Но это были не пять рублей. На настоящих, голубых, горизонтальных, изображалась башня Кремля, такие держали в кошельках и платили ими в магазинах. И все-таки была в этих бумагах пугающая достоверность. Больше всего их обнаружилось в Мопассане, нашлись они и в Гоголе, и в мрамористом Толстом. Я так и не узнала, кто наплатил деньгами библиотеку и почему он ими не воспользовался. В истории всех семей много скрытого. Позже, в девяностые, когда российские деньги мутировали, как мухи-дрозофилы, у меня на руках тоже остались десятитысячные, маргаритовой желтизной напоминающие советский рубль, он же «рванный».

Но вернемся к шкафу. Москва, наши дни. Мы с мужем, поэтом Виталием Пухановым, зашли в антикварный присмотреть люстру. Вдруг в глубине магазина, за углами и горбами заскорузлой мебели, я увидела родное. Это был он, шкаф. Шкаф был руиной. Дверцы шатались, резьба казалась обкусанной, и из него пахло погребом. Но мы его купили, конечно. Я даже представить не могла, что когда-нибудь мне выпадет такое счастье: вот он, книжный дворец, весь мой, я его заполню, чем захочу.

Теперь, отреставрированный, шкаф стоит в моем кабинете. Не тот же самый, не бабушкин, конечно, такое совпадение грешило бы против законов жизни и прозы. Мелкие отличия — более темный цвет панелей, простоватые шишки вместо медных кружевных ручек на ящиках — появились либо после хирургических восстановлений, либо вследствие аберрации памяти. Но главное вот что: шкаф оказался вовсе не громадным. Он не вместил и трети книг, которые я хотела бы в нем держать. Но тяжеленькие томики Гоголя (один во время переездов потерялся) — синеют на своем законном месте, на второй сверху полке, в первом ряду.